



**АЯЗ ГИЛЯЗОВ**

**ПРИ СВЕТЕ  
ЗАРНИЦ**

Аяз Гилязов

**При свете зарниц (сборник)**

«Татарское книжное издательство»

1959-1972

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Тат)-44

**Гилязов А. М.**

При свете зарниц (сборник) / А. М. Гилязов — «Татарское книжное издательство», 1959-1972

ISBN 978-5-298-03528-6

В сборник включены лучшие повести известного прозаика, созданные им за три десятилетия. Его произведения объединяет одна главная мысль о том, что только в беззаветной преданности родной земле, только в труде формируются прекрасные качества человека.

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Тат)-44

ISBN 978-5-298-03528-6

© Гилязов А. М., 1959-1972  
© Татарское книжное  
издательство, 1959-1972

## Содержание

Что за зеркалом?	7
При свете зарниц	11
1	11
2	18
3	22
4	26
5	32
6	41
7	44
8	48
9	54
10	71
Три аршина земли	75
1	75
2	83
3	89
Конец ознакомительного фрагмента.	93



**Аяз Гилязов**  
**При свете зарниц**  
*Повести*

© Татарское книжное издательство, 2017

© Гилязов А. М., наслед., 2017

## Что за зеркалом?

Только общение даёт чувство подлинной жизни. Друг с другом, с травой, деревьями, дождём, снегом. И, конечно, с книгой. Человек в сущности никогда не пребывает в одиночестве. Навстречу ему спешит и путник, и ветерок, и облако. И душа его беседует с целым миром. Календарь каждодневно худеет, часы поторапливают безостановочным движением. Но человек обладает ещё одной привилегией – жить не только в пространстве, но и во времени, перемещаться в нём. В этом смысле он своеволен, способен к перевоплощению, «лёгок на подъём», ненасытим в желаниях. Он может отлететь на десятки лет назад или предвосхитить грядущее с поразительной быстротой мысли и обескураживающим провиденьем чувства. Уединяясь, мы беседуем: мысленно произносим монологи, озаряемся непредвиденными встречами. Костерки памяти вспыхивают то там, то здесь, и время озвучивается речью. Мы как бы пытаемся подсмотреть: а что сокрыто за зеркалом? Не отражение на чистой плоскости нас интересует, ибо оно слишком очевидно, а глубина. То есть судьба, как мы её называем, глубинная суть обыденного. Проникновение в её кладовые дарует нам счастливые мгновения.

Писатель – свидетель судеб. Он точно разламывает тёплый ломоть жизни и богат тем, что вдыхает её запах. И в основании его творчества лежит судьба, личностное испытание, философия души, соединённая с множественным миром человеческих судеб своих сограждан. Потому он и есть истинный проповедник, а не поверхностный соглядатай. Его произведения – не констатация факта или момента, не приблизительный помысел действия, а доподлинная проповедь любви и ненависти, не витийство, а само действие.

В последнее время обнаружилось некоторое сетование на якобы замедленный процесс обновления литературы. Жизнь, дескать, её опережает выявлением нового качества. Это, ясное дело, недоразумение. Приходят на ум слова поэта: «Погоди, небесное, дай понять земное...» За какие-то полвека громадно изменился не только облик земли и сам человек, но и встал на ребро вопрос существования вообще. А что делать с опытом времени – силовым полем обитания поколений, множеством исторических переломов – извержений вулканов минувшего? Минувшего, но незажившего. Опыт войны, революций, и снова войны, опытом возрождения из пепла? Это же надо осмыслить и воплотить, закрепить память, потому что память не угнетает, а возвышает. И взгляд писателя поднимается от подножия к вершине. Корневое начало – его отправная точка.

Как менялась психология человека, какие она претерпевала бедствия, лишения, радости воспарения духа, победы, взрывы, смятения – всё это, без сомнения, и занимает творческую личность писателя в первую очередь, и потому его труд – нравственный поиск, а не словесные игры в сиюминутное отражение насущного дня. Литература, мне кажется, не столько предвосхищает, сколько освещает жизнь изнутри, а для этого необходимо неистощимое, стойкое горение. Бескорыстное служение правде.

Так я размышлял после прочтения повестей писателя Аяза Гилязова, сложившихся в весомую книгу. Книгу очень важную, очень искреннюю, предельно достоверную. Она, эта книга, сколок с его судьбы, сплетённой корнями с судьбой народа, выношенное суждение, как раз то, что сокрыто от беглого взгляда за гладью зеркала. В ней присутствует национальный характер, психологический портрет национального достоинства. Если развернуть это определение, получится обширная статья о самом значительном, чем может гордиться писатель, статья о непреходящей сути – жемчужине в раковине: нет большей удачи для писателя, как выявить и богато раскрыть в образах психологию своей нации. Подобное, увы, удаётся немногим.

Когда я восхитился образом Бибинур из повести «В пятницу, вечером...», автор сказал: «Я, может быть, двадцать лет носил её в сердце...» Да, разумеется, среди обыкновенных снов в редкие часы прозрения нас посещают и вещие сны.

Старушка Бибинур – прекрасная героиня, по-другому я и не мыслю. Прекрасная! Она само душевное расположение ко всему живому, бегущему и ползущему, чем заполнен мир. Она – праведница с открытым лицом и в самую тяжёлую минуту, в любое время жизни. Женщина со своей тайной любви, со своей тайной не только в сокровенном чувстве, но и в широком смысле доброго желания. Её добро постоянно, не избирательно, она и явилась на свет, чтобы отдавать, ничего не прося взамен. Да, дорогой читатель, и такое есть счастье – безвозмездно отдавать. Очень сильный образ старушки Бибинур! Не могу я вспомнить похожего в других литературах по наполненности, по свежести, обособленности, цельности. Ничего заёмного даже на маковую росинку. Она естественно вышла в мир из сердечной тоски писателя по прекрасному, слишком живая, чтобы оставаться жить в пределах книги. Бибинур трогательна непрерывностью своих душевных подвигов, она истинна повсюду, где кладёт маленькие следы. И поздняя любовь её, очищенная от плотского побуждения, возвеличивает её «тайну». Вот до каких высот может подниматься дух страждущего человека, как бы произносит автор. Вот как просветляется сердце! Праведник всегда несёт на себе печать трагедии, мученический ореол. Для других, для окружающих его людей. Как бы ни был он, праведник, заземлён, дух его воспаряет. Обычной меркой тут не обойдёшься, а посему в его присутствии сникает зависть, дикость своенравия, духовное невежество и слепота, мелочность бытовых неурядиц бескрыло отходит в тень. На то он и праведник, не ходульная знаменитость, что отрицает своим существованием всякую безликость, призывает к очищению, останавливает сдержанностью крик, бескорыстием – алчность. Отсюда и печать трагичности. И каждый, сопутствующий старушке Бибинур, оценён её взглядом, зоркостью её души – и Джихангир, и Галикай, и Габдуллазян, и Вэли, и Зухрабану, близняшка.

Я бы мог много размышлять о повести – она вся на слуху, освоена, принята чувством: теперь мне никуда от Бибинур «не деться» – но я пишу не критическую статью, а как читатель собеседую с заинтересованным читателем, причастный к писательскому труду, сопереживаю вместе с автором. Ибо знаю, как «боязно» писателю расставаться с сокровенным, препоручать его в чужие руки, – всё равно, что дитя родное отпустить на временный постой. Ведь у каждого своё «зеркало», и как знать, не удовольствуется ли кто-то самонадеянно скользнуть по поверхности, не прозревая при этом «зазеркальные» глубины...

Неискущённому читателю писатель представляется странной фигурой, наполовину вымышленной. Портретные чёрточки собраны с творческих личностей, давно заслуживших общее признание, из дневников, писем, воспоминаний. Всё это – фантазия, легенда, домысел, над которыми витает нимб исключительности. И подчас поступки героев произведений, их действия полностью соединяются с жизнью автора. Находясь под пристальным вниманием, обрастают инородным материалом аналогий. Очень просто «увидеть» заносчивость, позёрство, болезненность, тщеславие и т. д. С этой точки зрения Аяз Гилязов, мне думается, человек самоуглублённый, смеющийся скорее невпопад, будто на всякий случай, не способный обидеть другого впопыхах самоутверждения. Это моё предположение. Но что несомненно, он – человек счастливый, хотя бы потому, что пришёл в литературу не по самолюбивой случайности, не по ковровой дорожке, а по требованию чувства. Мы сидели на одной студенческой скамье университета, но он был намного старше меня и, естественно, иронично воспринимал мои поспешные суждения. У него было на это право возраста, право знания жизни. Я бы не удивился, скажем так, произнесённой вдруг фразе: «У тебя ещё молоко просыхает на губах, не кровь...» Жёстко говорить учит жизнь. Она же учит быть и разборчивым. Я был свидетелем его воодушевления чужой рукописью. Так или иначе, на сегодняшний день писатель Аяз

Гилязов – человек счастливый: его герои, сойдя со страниц книг, ушли, как свои люди, в народ. Он сумел показать то, что таится за «зеркалом» жизни, не погрешив перед правдой.

Повесть «Три аршина земли» в своё время была отмечена премией журнала «Дружба народов» тому лет пятнадцать назад. Я помню ощущение первого прочтения. Но в том-то и дело: время, как вершитель и судья, либо укрупняет подлинник, либо низводит его до положения всего лишь чертежа, замаха (протащилась туча, да не пролилась благодатью). Ныне «Три аршина земли» так же уместны и не утратили ни одного оттенка свежей вести. Талантливый писатель потому и долгожитель, что образы, им созданные, протяжённы во времени, хотя и не вечно плоть земная, давшая им жизнь. Есть что-то превыше, сверхзадача искусства, возвышающая обыкновенность до величия. Вспомним пушкинское: «Прекрасное должно быть величавым». Я бы назвал это оптимизмом корневого начала, пульсом родника.

Проза Аяза Гилязова оптимистична, её трагизм величествен. Дух преоборения возносит человека: не муть поднимает с души, а силы великие. Два героя Мирвали и Шамсегаян словно два полюса магнита. Они противоборствуют в любви молчанием. Только смерть окончательно породнит их. Час прозрения, час ответа наступает по своим законам: на трёх аршинах уместятся лишь бранные останки, а бьющемуся сердцу необходим воздух родины, безоглядность простора, постижение единства и братства на земле. Добро не умозрительно, а конкретно, его не размажешь кашей по тарелке. Им ценится жизнь, произрастающая, бесконечно самовозрождающаяся. И неиссякаемы источники добра.

Высокое художество философично, оно бежит суетности. Говоря образно, оно обязательно задаётся вопросом: а что за зеркалом? Оно изучает не только предмет, но и его тени при разном освещении.

Проза Аяза Гилязова высоконравственна, избегающая прописной морали.

Повести о военном детстве, юности «Любовь и ненависть» и «Весенние караваны» донесут до читателя правду и слёзы первого чувства, благотворное причастие к судьбе народной, в которой все повязаны одной верёвочкой весенних караванов. Как бы эхом откликается Сибгат Хаким беспощадно, с обнажённым мужеством и откровением нарисованным сценам Аяза Гилязова.

Как узелки одной верёвки длинной,  
навстречу женщины усталые бредут,  
и тяжко сторбленные спины —  
за валом вал – качает, как в бреду.  
Весенний караван в пустынном поле,  
поклон тебе и тихое: прости...  
Ломоть земли посыпан горькой солью  
из женской нескудеющей горсти...

Пять повестей, сведённых вместе, говорят о многом. Каждая по отдельности – только об удаче писателя. Тема родного очага, корней, отечества требует именно разных ракурсов, временных моментов. Требуется взятия глубинных проб, сердечного напряжения. Простое повествование лишь событийно, и герои его случайны, настоящая же литература имеет дело с пластами жизни, с родниками, а не ручейками, с мощным оглядом вширь и вглубь, а не за ограду соседа. Имеет дело даже не с героями, но всегда с типами. Она словно перерождает жизнь силой искусства, непременно возвышая её, но никогда не унижая. Вот исходя из этого, можно утверждать, что проза Аяза Гилязова патриотична без ложной патетики. Естественна и необходима, как хлеб, вода. Самоотверженна по сути характеров, по пламенности порывов, уважению к истоку. Она философична не по формальному изъятию, а по самому образу мышления, природному видению.

В татарской литературе работает, полон энергии, большой мастер, перед которым открыты дали непредвиденного размаха. Ему ещё предстоит сказать своё главное слово, хотя «высокий храм» выстроен, акустика налажена, свод сияет. Аязу Гилязову, я убеждён, предстоит занять место в общенациональном масштабе, он способен поднять и нести достойно не какой-то пресловутый груз художника, а очищающую правду жизни.

*Рустем Кутуй*  
*1986*

## При свете зарниц

### 1

В самый летний зной, когда соломенные крыши и плетённые из прутьев сарайчики для скота так накалялись к полудню от солнца, что и без огня готовы были вспыхнуть, в деревне Куктау начался пожар. Бестолковая сноха Латыповых вытряхнула из самовара тлеющие угли в деревянный лоток, оставила на лабазе, а сама ушла в огород.

К тому времени, пока подоспели пожарники из райцентра, огонь перекинулся уже на крышу восьмого дома: день был ветреный. Восьмой дом отстоять не удалось, девятый раскидали подоспевшим с поля трактором, дальше огонь не пошёл.

На подмогу прискакал народ из соседних деревень, вместе с пожарниками протянули шланг до запруды, поливали тлеющие головёшки на пепелищах, пока на дне запруды не показалась тина да бьющиеся на мели мальки.

Пожар задержали, и всё же на месте восьми хозяйств остались только почерневшие печи и дымящиеся головни. Хозяева-погорельцы, собирая на огородах выброшенный второпях скарб, утешали себя, что, случись это ночью, – сгорели бы вместе с детьми. Не только барахлишко спасти, скотину бы вывести не успели.

Вечером, кое-как согнав скотину, ошалело бродящую по улице в поисках знакомых ворот, погорельцы потянулись в правление колхоза.

Председатель Хусаин Муратшин, отряхнув засыпанную гарью кепку, оглядел собравшихся. Когда тушил пожар, в веко ему попала отскочившая от бревна щепка, глаз заплыл, левая сторона лица опухла.

Погорельцы сидели непривычно тихо, в пропахшей дымом, порванной, прожжённой искирами одежде, подавленные происшедшим.

Молчал даже обычно болтливый старик Хифасулла, громко вздыхал, прикрывая фуражкой прожжённую на штанах дыру.

– Где тётка Махибэдэр? – спросил Хусаин.

Погорельцы переглянулись, словно бы не поняв вопроса, потом старуха Латыпова сказала:

– Я видела, когда шли сюда, она на огороде у себя цыплят скликала. Разбежались, что ли, от пожара или сгорели?

– Сказали ей, что надо прийти в правление?

– А как же! – заторопилась опять старуха Латыпова. – Только зачем ей сюда? Дом ей не нужен... Сын зовёт в город, вот и поедет.

Погорельцы, обрадованные тем, что разговор свернул как бы в сторону от несчастья, заторопились, перебивая друг друга:

– Ясно уедет!

– Зачем старушке Махибэдэр дом? Солнцем клянусь, Хусаин, правда! Пусть едет к сыну, он на хорошем месте служит, в центре Казани живёт, в машине разъезжает!

– Городские одни белые калачи трескают!

– Разве здесь старуха увидит то, что у сына попробует?

– Мы и то подумываем: не податься ли всем гуртом в город?

У Хусаина сильно болели бровь и веко. Он намочил у бачка носовой платок, приложил к синей опухоли. Стало вроде меньше дёргать.

– Нет, без неё решать этот вопрос нельзя, – сказал он твёрдо. И попросил девушку-счетовода: – Сестра, добеги до фельдшерицы, пусть пройдёт по дворам, опросит, кто обжётся или

ранен при пожаре. Поможет, если надо. Заодно и старушку Махибэдэр пусть навестит. Может, заболела с горя, потому не пришла? – Когда девушка вышла, спросил: – Так что же делать будем, товарищи?

Снова наступило молчание.

Все понимали, что вот-вот должна начаться жатва, поспел горох на косогоре, – где взять столько рабочих рук, чтобы поднять сразу девять домов? Да и лес не вдруг достанешь, места кругом степные, каждое бревно на вес золота. И то, что старушка Махибэдэр вроде бы решила, взяв в охапку перину, отправиться к сыну в город, было совсем неплохо. Конечно, прямо никто не говорил, что первым нужно ставить его дом, однако каждый считал своё положение более бедственным.

После долгих споров решили всё же начать с дома старика Хифасуллы. Во-первых, он сам плотник и семья у него большая – рабочих рук много, во-вторых, это его дом раскатил трактор, часть брёвен годилась в дело.

– Где другим лес достать? – вслух подумал Хусаин. – Ведь ещё восемь домов, легко сказать!

– Ты, Хусаин, зря всё же старую Махибэдэр считаешь! – раздражённо возразил Салих Гильми.

– Не зря. Человек всю жизнь в колхозе проработал, а теперь что же? В шею её вытолкать? Пусть уж она сама решит – ставить ей дом или не ставить.

– Чего её спрашивать? А если ей в голову взбрѣдет остаться? Ни роду, ни племени здесь, зачем ей дом? Пусть сын содержит, а то нажрал шею...

– Исхак работает на ответственной работе, – сказал Хусаин мрачно. Он, как и все присутствующие, знал, что Салих зарится на чернозѣмный участок старушки Махибэдэр. На его собственном огороде была плохая глинистая почва.

– За каким чѣртом нам его работа? – взорвался Салих. – На агронома учился, а что делает? Хлеб растит? Молоко производит?

– Не наше это дело. И ты, Салих, Махибэдэр не подгоняй, – сказал Хифасулла. – Есть ли в колхозе человек, который работал больше неё? Да и не уедет она сама. Кровь не отпустит.

– Кровь! Сказки-то не плети... Тебе что, ты первый дом получишь. Вот и щедрый...

Пока погорельцы тихо, незлобно переругивались в правлении, старая Махибэдэр бродила по картошке, скликала разбежавшихся цыплят. И всего-то имущества у неё осталось – цыплята, большая подушка в полосатой наволочке, выброшенная кем-то на огород, перина, медный самовар с сильно помятым боком, ткнувшийся крапом в землю, да старое волосяное сито, валяющееся рядом.

Домик у неё был маленький, построенный в нужде вдовый домик, крытый соломой, – хорошая пища огню. Раз лизнул по домику, раз по сарайчикам – и всё. Пепел.

Нет теперь у старой Махибэдэр угла, худо-бедно, а всё же жизнь прожила, детей вырастила, мужа схоронила... Цыплят жаль, живые души. Неужто тоже сгорели?

Старуха, спотыкаясь, спустилась по меже вниз, снова хрипло покричала цыплят, но они не появились. Тогда она, набрав воды в деревянное ведро, напилась и присела на перевёрнутое корыто, валявшееся возле колодца. Убрала под платок спутанные седые волосы, застыла так, неподвижно глядя на улицу.

В этом году на лабазе ласточка свила гнездо. Уж села выводить птенцов, бедняжка...

Выдралась из зарослей чертополоха кошка, подошла к Махибэдэр, начала тереться об её ноги, выгибая спину и мурлыкая.

«Есть, наверное, хочет», – подумала Махибэдэр, ясно представив блюдечко с молоком на полу возле печки. Где теперь тот пол и то блюдечко?

– Пойдѣм, – сказала она, вздохнув. – Уж тебе-то еды можно найти...

На улице кричали, разыскивая её. Взяв кошку на руки, Махибэдэр побрела к торчащим, точно занозы, обгорелым столбам, оставшимся от ворот.

Погорельцев разобрали по своим домам родня и близкие друзья. Махибэдэр увела к себе её подруга Зулейха, захватив перину, подушку и самовар: невелик скарб, но всё пригодится. Попили чаю, посидели, обсуждая случившееся, только старой Махибэдэр не сиделось. Её снова потянуло на пепелище.

Покосившиеся столбы всё ещё дымились в сумерках, едко пахло. Над рекой, внизу за огородами тёк не то туман, не то дым.

– Вот во время войны так пахло, как в освобождённые деревни входили... – донёсся до старой чей-то голос с соседнего пепелища.

– Ох, беда-беда... – вздохнула Махибэдэр. – Теперь всему конец, всё пропало. Дом, сарайчики – всё обратилось в пепел, и родных нет никого, чтобы поддержать, защитить тебя... Кому какое дело, что здесь твоя жизнь прошла? Исхаку об этом не расскажешь, у него каменное сердце!.. Ничего не поделаешь, придётся ехать к нему в город. Ох, беда-беда...

У других сыновья как сыновья, дочки как дочки. Живут своей семьёй в доме с родителями, дружно живут. Детей растят. Не повезло Махибэдэр с детьми, не повезло. Если бы жив был Нурислам... Если бы она жила со своим стариком, – ничего бы ей не было страшно, хоть весь мир пойдя прахом!

Только нет Нурислама... Исхаку, младшему из их детей, как раз сравнялось тогда четыре года. Нурислам был в Кырынды на пахоте. Боронильщика ужалила гадюка. Нурислам, положив мальчика поперёк седла, поскакал в деревню. Решил спрямить путь, направил коня через рожь, под гору. А там была старая яма, из которой когда-то брали известь для обжига... Нурислама нашли на дне этой ямы с разбитой головой, тут же стонала лошадь с переломанным хребтом. Мальчик был жив...

У Махибэдэр после смерти мужа осталось трое детей. О нужде, которая прочно поселилась с тех пор в их доме, знает только она: работала из последних сил, от зари до полуночи, стараясь, чтобы дети были сыты и обуты, чтобы сиротство не покалечило им души, не лишило человеческой гордости. Все трое получили образование. Мать мечтала: выучатся, придёт и её очередь отдохнуть, порадоваться, глядя на достаток в доме.

Однако дети не оправдали её надежды. Старшая дочь, окончив техникум, вышла замуж за военного и уехала с ним на Сахалин. Вторую дочку хоть и взял парень из соседней деревни, но они тоже уехали в Альметьевск на нефть. Родня это очень одобряла: «Голова-то у зятя оказалась круглая, работая в колхозе, не разжиреешь!..»

Махибэдэр отмалчивалась. Шла работать в колхоз, куда посылали, суетилась по дому, возилась на огороде. Хотя по-настоящему всем этим уже должны были бы заниматься дочки и зятя, а ей бы внуков нянчить. Вся надежда теперь была на Исхака. С детства она старалась приучить его к деревенской работе, к слову хвалила труд хлебороба.

Дни начала сева по традиции были в деревне Куктау праздником. Махибэдэр хотела, чтобы Исхак тоже приучился с благоговением относиться к севу.

Бывало так. Поля очистились от снега, земля уже достаточно прогрелась. И вот в одно назначенное утро старики шли «нюхать землю». Нарядные, с вымытыми расчёсанными бородами, на головах войлочные шляпы или круглые шапочки, чёрные камзолы нараспашку, видны белоснежные рубахи, руки сцеплены сзади. Идут молча, торжественным небыстрым шагом. Махибэдэр, сунув Исхаку краюшку хлеба, толкает его к соседу Хифасулле. «Иди, сынок, с дедушкой Хифасуллой, посмотри на землю, понюхай её. Ты мужчина, скоро ответственность за сев, за урожай ляжет на твои плечи...» Исхак присоединяется к ватаге мальчишек, поспевающих за своими старшими.

Струится марево над прогретой землёй, звенят в небе жаворонки. Дорога идёт в гору, шире открываются ноздри стариков, втягивающих сладкий шершавый запах земли, старики дышат всё чаще и глубже, платками вытирают пот с лица и шеи.

Когда приходили в поля, Хифасулла-бабай брал корявыми пальцами щепоть земли с низин и косогулов, тёр её между ладонями, нюхал. Поплевав, разминал в пальцах, потом, прижмурив безресничные, как у орла, глаза, долго смотрел на солнце.

– Как, аксакалы? Готова, пожалуй, земля? Завтра начнём...

Другие старики нагибались, брали землю в ладони, нюхали, словно бы лаская, сыпали с руки на руку. Кое-кто возражал, что в низинах снег, мол, ещё не сошёл, но потом все соглашались с Хифасуллой: завтра начинаем!

Услышав это, мальчишки скатывались с холма, неслись в деревню, с визгом растекались по улицам:

– Завтра выходим сеять!

Старики прямо с поля направлялись в правление колхоза, и едва не до полуночи горела там яркая десятилинейная лампа, слышались голоса.

На следующее утро, чем свет, народ длинной вереницей тянулся в поле. По традиции сев начинали аксакалы. В чёрных камзолах и белых рубашках, с лукошками на шее, они становились на межу; вокруг них, отпихивая локтями и кулаками друг друга, грудились мальчишки и девчонки. Женщины и старухи торопливо клали в лукошки аксакалов крашенные яйца и быстро отходили в сторону, чтобы не пропустить мгновения, когда коснётся борозды первое зерно. Если ты увидел, как первое семя легло на землю, значит, ты счастливо доживёшь до первых колосьев.

Махибэдэр тоже стояла с женщинами. Но глаза её следили не только за аксакалами, которые стояли в ряд, через две сажени друг от друга, прямые, надменные, как на параде. Поглядывала она на чёрную с синими узорами тюбетейку Исхака: взволнован ли он? Чувствует ли, какое это священное таинство – рождение хлеба?

От аксакалов отходят последние старухи. Сеяльщики поворачиваются лицом к солнцу, поднявшемуся уже к тому времени над розовой полоской горизонта, – дружно делают первый шаг по мягкой земле. Шершавые большие руки бережно, привычно черпают из лукошек пригоршни зёрен и широким жестом распускают в воздухе золотой веер. Мгновение – будущий хлеб лёг на землю. Катятся по бороздам вместе с зёрнами яйца – цвета переспелой земляники; оранжевые, точно большое солнце в августовский туман; бордовые от луковой кожуры. Ребяшня с радостным ором кидается подбирать их в подолы рубах, тюбетейки, картузы. Женщины утирают платками радостные слёзы, даже лошади, запряжённые в сеялки, переминаются с ноги на ногу и тревожно ржут, словно чувствуя волнующую важность момента.

А аксакалы всё шагают строгим ровным строем, на пашне остаются узорчатые следы лаптей. Подолы их новых камзолов распахнуны, точно крылья ласточек, а в небе звенят, заливаются жаворонки...

Но вот старики, разбросав последние зёрна из лукошек, выходят к меже, стряхивают землю с лаптей, дружно поздравляют друг друга. Теперь пошли сеялки. Лошади напрягают шею, берут с места, и вот уже потянулись вслед за зубьями первые тоненькие ниточки.

– Пошла, пошла!

– Аллах поможет!

– На счастье! – кричат им вслед со всех сторон.

Парни-сеяльщики свистят во всю мочь, погоняя лошадей. Девушки-невесты, стоявшие до сих пор скромно в стороне, начинают петь всё громче и дружнее. Не утерпев, вторят им тоненькими качающимися голосами и старухи, потупив глаза и растянув губы в ниточку, чтобы старики не заметили, что они поют.

Если же в такой день вдруг пойдёт дождь, то это к счастью. Ещё к большому счастью, если прогремит гром. Детвора начинает с визгом кататься по траве, старухи, придерживая руками подолы длинных платьев, тоже падают, катаются по земле. Первый гром – это благовест святого Хызыр-Ильяса! Если ты услышала собственными ушами первый гром и успела покататься по земле, тебя минует хворь, поостерегутся обижать домовые и водяные. Если ты собственными глазами увидела, как на грудь матушки-земли упала первая благодать, если умыл твоё морщинистое лицо первый дождь, – ты помолодеешь!.. И Махибэдэр тоже каталась по земле, проливая слёзы радости, а потом кидалась к сыну, покрывая поцелуями его голову.

Если бы жив был Нурислам, он тоже вместе с аксакалами бросал бы семена на землю, а после стоял, утирая чистым платком с лица и шеи трудовой заслуженный пот... Ну ничего. Может, Аллах позволит ей дожить до того дня, когда Исхак поедет сеяльщиком, а крашенные кусочки солнца будут собирать её внуки, дети Исхака... Так она мечтала. Она научила его всему, что знала сама, чему учат детей отцы и деды.

Не мочись в воду. Не плюй в огонь... Самое чистое, самое нужное, самое святое – огонь и вода. Предки всего живущего на земле. Плюнешь в огонь – отсохнет язык. Помочишься в воду – на том свете тебя заставят лизать горячую сковороду, чтобы ты вполне мог оценить в воспоминаниях вкус холодной чистой воды...

Не говори громко в лесу и в чужом дворе. В лесу вспугнёшь леших и птиц. Они покинут гнёзда, будут блуждать по свету, проклиная того, кто согнал их с насиженных мест. В чужом дворе подумают, что тебя не научила хорошим обычаям твоя родня.

Только, конечно, всего дороже, всего важней – это кусок хлеба. Есть хлеб на столе – есть в доме солнце и радость. Махибэдэр пережила на своём веку не один голод, помнила двадцать первый год, когда вместо хлеба ели сладковатую красную глину, и люди умирали, как мухи. Предки говорили: храни хлеб, завернув в чистую красную скатерть. Не бросай крошек. Режь каравай, прижимая его к груди...

Хлебная крошка... Однажды Хызыр-Ильяс, проходя по аулу, увидел старика, стоявшего на одной ноге. Святой удивился и спросил, почему аксакал избрал себе такую неудобную позу? Старик, показав на землю, сказал, что упала хлебная крошка. Найти её он не может, потому что уже слаб глазами, и вот боится наступить... Хызыр-Ильяс дал этому человеку и роду его радость до конца дней.

На всех полевых работах, едва подросток, был Исхак с матерью, слушал серьёзно всё, чему она его учила. Только, увы, чем старше становился Исхак, тем пристальней смотрел вокруг и начинал сам разбираться в жизни. Теперь он часто спрашивал мать, почему же это она говорит одно, а видит он совсем другое? Мать, например, твердила, что хлеб положен работающему. Но мальчик видел, что и неработающие едят, зачастую даже отхватывают куски получше.

И всё-таки её влияние, её труды дали свои результаты. Исхак поступил учиться в сельскохозяйственный институт. В этот день Махибэдэр, накинув на плечи свою лучшую шаль, два раза гордо прошлась по деревне из конца в конец: сын поступил учиться, будет агрономом, большим и нужным в деревне человеком...

Дочки нарожали детей и стали наперебой звать Махибэдэр к себе. Соседи, перечитывая вместе с Махибэдэр их слёзные письма, уговаривали старую: «Езжай и не сомневайся! Жить будешь, как у бога за плечами: чай с урюком пить да беляши кушать! Дочки твои обе добрые да ласковые, мы же помним их!»

«Старики говорили: если зять бранится, держись за ручку двери, если сын бранится, держись за люльку...» – отвечала Махибэдэр.

Когда Исхак поступил в институт, дочери перестали надоедать матери.

«Наверное, кончит братишка институт и заживёт с мамой в деревне, – подумали они. – Пускай, раз мама считает, что так ей будет лучше».

Мать ходила радостная, и нелёгкий крестьянский труд снова был ей не в тягость: скоро сын и будущая невестка подставят своё плечо, сменят старую. Но всё обернулось не так, как она ждала...

На последнем курсе Исхак выхлопотал себе практику в родном колхозе. Тогда тут председателем был избран Хусаин Муратшин, друг Исхака. Хусаин тоже обрадовался молодому специалисту, в работе председатель и практикант-агроном ещё больше сдружились. Махибэдэр повесила на окна своей лачужки белые занавески, стала надевать на улицу выходные платья. Но недолгой была её радость. Вышла у сына тут неприятная история, полетел и председатель. Разобиженный Исхак уехал доучиваться, да так и остался в городе. Звал Махибэдэр к себе, а дом велел продать.

Скучно было Махибэдэр одной, она даже подумывала всерьёз, не уехать ли ей к сыну, но всё же не решилась. Надо было подождать, пока он женится. Вдруг снохой окажется какая-нибудь капризуля, которая будет ссориться со свекровью по любому поводу?

Но Исхак не спешил жениться. Миновали и двадцать семь лет, считавшиеся для мужчины последней гранью. Расстроенная, Махибэдэр отправилась к сыну в город. Расспрашивала соседей, плохо понимая по-русски: может, избаловался парень в городе, водит к себе разных дурных женщин, сегодня одну, завтра другую, потому и не женится? Соседи её утешили:

– Сын у вас очень скромный, сдержанный. Женщин у него не бывает.

Узнав о материнских расспросах, Исхак обиделся:

– Почему ты у меня не спросила, мама? Нехорошо по людям сплетни собирать.

– И у тебя спрашиваю: почему не женишься?

– Нет девушки, которая бы сильно понравилась. Понимаешь, мать? Нет такой девушки.

– Девушки нет? Да, как говорит старик Хифасулла, в наше время целый выводок девушек три копейки стоит.

– Мне таких не нужно.

Девушек нет?... Махибэдэр, выйдя на улицы Казани, только ахнула. Красивые разряженные девушки ходили по улицам косяками, как пёстрые рыбки в чистой струе ручья.

Махибэдэр ни с чем вернулась в деревню.

«Испортили Исхака!..» – решила она. И тяжёлый груз лёг на её сердце. Что-то проглядела она в сыне, вовремя не поправила, не наставила на верный путь – казнила себя Махибэдэр. Ведь и сейчас, когда сын работал, окончив институт, в таком месте, которое и назвать-то язык поломаешь, – он оставался для неё птенцом, по неосмотрительности её выпавшим из гнезда. Не научила птенца летать – её вина...

Обдумав всё так и эдак, взвесив «за» и «против», Махибэдэр решила в город не переезжать. Здесь она хозяйка, у неё свой угол, откуда её никто не прогонит, здесь она может говорить с людьми уверенно. Так что живи хоть в доме с сорока заплатками, сиди на одной воде с хлебом, а мать должна остаться матерью, не превращаться в прислугу на побегушках.

Вот в это самое время, когда мысли Махибэдэр кружились в водовороте тяжких раздумий, и сгорел её дом.

На следующий день в Куктау из района приехали какие-то люди, побродили с деловым видом вокруг сгоревших домов, составили акты, снова собрали погорельцев. Хусаин Муратшин много раз посылал к Махибэдэр рассыльного, только старая в правление не пошла. Хотела снова решить для себя, ехать ей или оставаться. Сыну она послала телеграмму.

В тот же день от Исхака пришла ответная телеграмма. В ней говорилось, что он очень огорчён случившимся и скоро сам приедет в деревню решать, что делать.

Когда девушка, разносившая письма, бойко прочла и перевела телеграмму, Махибэдэр, вытирая кончиком платка глаза, полные слёз, бросилась за печку. Хотела, как обычно, отсыпать «почтовой девушке» горсть орехов. И только споткнувшись о чужой медный таз, вспомнила, что она не у себя, а у своей подружки Зулейхи, и заплакала, запричитала в голос.

Девушка, чтобы не стеснять Махибэдэр, потихоньку ушла.

Огорчила Махибэдэр мысль, что встретиться с сыном придётся под чужой крышей. Сможет ли она с той же твёрдостью, как и раньше, сказать ему о том, что у неё на душе?

## 2

Председатель колхоза Хусаин Муратшин и Махибэдэр неожиданно столкнулись на дороге к роднику. Хотя Махибэдэр жила теперь не при своём хозяйстве, всё же угомониться не могла. Вставала, как привыкла, на заре, выгоняла в стадо скотину, подметала двор, полола чужую морковку и свёклу. Потом отправлялась на свой огород, копала там испёкшуюся во время пожара прямо в земле картошку, несла на корм скотине.

Увидев Хусаина, Махибэдэр поставила ведро на землю, прикрыла край щеки и рот углом платка по обычаю, сказала, улыбнувшись:

– Вот несу воду для чая, здравствуй, Хусаин!

– Здорова ли, Махибэдэр-тути<sup>1</sup>?

Оба постояли молча, раздумывая, как начать разговор о доме. Хусаин кивнул на ведро.

– Не тяжело таскать? Здесь ведь родник дальше, чем у вас там?

– Да... И вода хуже, чем в нашем колодце. Жёстче.

– Вот как всё вышло, Махибэдэр-тути. Кто знать мог? – вздохнул Хусаин.

– Да что ж?... Салих Гильманов каждый день ходит: уезжай. И остальные одно твердят: не надрывайся, таская воду на чужой порог. Трое детей – можно выбрать, к кому уехать!.. Сговорились все, что ли? Что ж дети? Дети детьми, а моя земля, мой дом здесь!..

Хусаин издавна относился к Махибэдэр иначе чем к другим: мать Исхака, с которым его связывала больше, чем дружба. Сейчас её горе больно отозвалось у него в сердце. Кто знает, что будет с ним в старости, захочется ли, бросив родной очаг, уехать к кому-то из детей? Вряд ли...

– Я же не говорю тебе «уезжай», – мягко сказал он. – Я понимаю: сломанная кость – как ни задень, больно. Мне кажется, ты больше сама выдумываешь, чем тебе говорят.

– Может быть... Только ведь и слова «останься» я ни от кого не слышала, – ответила Махибэдэр, утирая намокшие от слёз морщинистые щёки.

– Мне сказали, Исхак едет, правда ли это?

– Кто его знает, – уклончиво пробормотала Махибэдэр. – Его не поймёшь. Сегодня так сказал, завтра – по-другому. Если приедет, мимо твоего дома не пройдёт, товарищи ведь вы.

– Коли дети на подмогу не приедут, трудно будет одной с домом возиться, – сказал Хусаин напрямик. – Поставить справный дом даже мужику здоровому трудно в одиночку. Мы, конечно, поможем, обвязку поднимем, если скажешь. Только делу на этом не конец.

– Брёвна есть у тебя?

– Из Субальяка дают. Подряд будут валить лес, где Волга зальёт. И цена дешёвая. Только сто двадцать километров перевозки! Потом пилить надо, сушить...

– Когда овечьи фермы начнёшь чинить? – спросила Махибэдэр, что-то припоминая.

– Как уборку кончим, не раньше, конечно.

– А ты отдай людям пока что брёвна, привезённые для фермы. А привезёшь лес из Субальяка, на фермупустишь. Вот и вывернешься.

Хусаин улынулся:

– Легко ты развела беду руками, Махибэдэр-тути! Тем брёвнам не я хозяин.

– А кто же?

– Район.

– Ну и жди, пока там раскочаются, решай!

Махибэдэр, наклонившись, подцепила коромыслом вёдра и, сердито переступая короткими ножками в белых длинных штанах, заправленных в шерстяные носки, пошла во двор Зулейхи.

<sup>1</sup> Тути – тётя.

Когда она скрылась в доме, к Хусаину подошёл Салих Гильми. Почёсывая ободранную на пожаре щеку, сказал негромко:

– Словечко у меня к тебе есть, парень.

– Давай, Салих-абзый<sup>2</sup>.

– Одна надежда, парень, – продолжал Салих, всё так же почёсывая щеку, – на тебя. С ног столкнёшь – ты, руку протянешь – опять же ты.

– Издалека начал, Салих-абзый, от самых Набережных Челнов.

– Уговори ты эту упрямую дуру! – сказал с сердцем Салих. – На кой ей дом, огород? Еле ползает, о том свете пора думать, а она – дом! Пусть отдаст мне участок. Такая земля, а она там чертополох да крапиву разводит!

– А ты что разводить собрался? Райские яблочки?

– Да уж найду что!.. Сам знаешь, семья, жить надо.

Хусаин усмехнулся:

– Тебе жить надо, а ей, значит, умирать пора? Где-то я читал, в одном древнем царстве обычай был – стариков и старух в горы уводили помирать. Ты за это тоже?

Ему не хотелось продолжать разговор с Салихом, однако пойдя отвяжись от человека, который, как паршивый щенок, то спереди забежит потявкает, то сзади...

– Сам-то ты согласился бы уехать?

– Сравнил! – Салих даже сплюнул от возмущения: я, мол, человек, живу зажиточно, а она кто? Мусор!

У Хусаина заходили злые желваки на скулах, однако он сдержался, только шагу прибавил. Салих ещё некоторое время тащился следом, потом отстал, плюнул со злостью.

– Упрямая скотина! – пробурчал он. – Вытащили тебя снова наверх на кой-то чёрт! Всплыл, сволочь... Ну ничего, ещё будет и на моей улице праздник, ещё ты снова попляшешь у меня, как рыба на углях...

Хусаин, будто услышал его, обернулся и крикнул:

– По прошлому скучаешь, дядя Салих? Оно не вернётся, не надейся!..

Хусаин дошёл до подножия Огурцовой горы, остановился, закусив окурочек в углу рта, заложил руки за спину. Чернели на взгорке пепелища, зеленели полувытопанные огороды. Трудная задача для колхоза – поднять эти восемь домов. Но поднимем. И Махибэдэр-тути не отпустим никуда, всё-таки зацепка, надежда, что Исхака когда-нибудь потянет в родные места.

Хусаин покачал головой, выплюнул окурочек, зашагал в гору, к кузнице. Если приедет Исхак, он непременно зайдёт и объяснится с ним начистоту. Постарается уговорить снова вернуться в деревню, к родной земле.

Что для нездешнего человека значат вот эти названия: Акбуз-ат чишмәсе – Сивого коня ключ; Кыяр-тавы – Огурцова гора; Ахми-куаклыгы – кустарник Ахми. На взгляд этого самого нездешнего человека Огурцова гора – просто холм, ключи как ключи, ничем не замечательны. Но у Исхака, уверен, сердце отзывается больно и счастливо, когда он вспоминает эти названия. Так же, как у него самого...

Он, Хусаин, при слове «родина» в первую очередь вспоминает эти поля и холмы, эти ключи и овраги. Эти заросшие травой и бурьяном тихие деревенские проулки... Сначала их, а потом уже всю большую и необъятную Родину – её он любит именно потому, что существует эта, которую можно глазом и сердцем объять. И Исхак так же...

Радость и горе, любое сильное волнение срывают хоть на минуту с человека маску, обнажают его истинное лицо. Это Хусаин испытал, когда на него самого свалилась беда. Слабоват он тогда на поверку оказался, трусоват... Но что-то, видно, было в нём хорошее, раз люди не забыли, вспомнили, снова доверили свои достаток, можно сказать, своё благополучие и жизни.

---

<sup>2</sup> *Абзый* – дядя. Почтительное обращение к мужчине, старшему по возрасту.

Потому никогда так просто не отмахнётся от старой Махибэдэр или другой такой старушки, всю жизнь отдавшей колхозу. Собрать бы все её труды, не дом – дворец отгрохать можно.

А Салих своё истинное лицо никогда и не скрывал. Хапуга. И сейчас на чужой беде капитал нажать хочет.

За эти пять лет, что прошли после первого провала Хусаина на посту председателя колхоза, он часто хотел, махнув рукой, взять и уехать в город, как Исхак. Спокойно жить, не глядя с тоской на небо, что пошлёт: дождь или ведро. Но что-то держало его на родной земле, что-то, что было сильнее его. Но последней удерживающей силой было, очевидно, желание доказать Салиху Гильми и его прихлебателям, что повернутся ещё времена к добрым людям лицом, а к ним задом...

И времена начали потихоньку поворачиваться...

Со дня второго своего избрания Хусаин забыл, что такое покой, носился между деревней и райцентром, донимал дотошными расспросами специалистов из райземотдела. С утра до вечера пропадал на пастбищах, проверял запасы сенокосных угодий, составлял карты. Ходил на поклон к старику-лесничему, обещая выделить для его лошади часть фуража: надо было непременно договориться о разрешении косить большие лесные поляны. Он решил сделать упор на овцеводство. Отроги Уральских гор, где расположилась деревня Куктау, не очень-то годились для хлеборобства. Пусть в засушливые годы трава на склонах предгорий превращалась почти в труху, но овцы и в такие времена до самой глубокой осени жировали на горных пастбищах.

Со своими мыслями и планами Хусаин навещал секретаря райкома, заходил в МТС. Его в общем поддерживали, помогали стройматериалами и изредка ссудой. Но разговоры разговорами, необходимы дела, какие-то реальные, пусть небольшие успехи, чтобы колхоз укрепил своё положение в районе. Колхоз беден, кругом должен – нужны крутые меры, много труда, чтобы стянуть его с последних мест. Хусаин нуждался в опытном помощнике – нужен был хороший агроном. Когда он поднимал в райкоме вопрос о кадрах, там ему отвечали, что специалистов пока не хватает, ищи, мол, сам. Но кто поедет в его бедный колхоз, расхлёбывать на первых порах нужду и неприятности? Кто чужой согласится ехать сюда, если друг, на этой земле рождённый, забыл запах родного дома?... Нужно было вернуть Исхака в деревню...

Не заметил, как дошёл до кузницы. Увидел народ, ожидающий запчастей, увидел в темноте сарая искры над горном, услышал перезвон молотков – и сразу поднялось настроение. Хотя знал, что сейчас начнётся: Хусаин, угля нет, Хусаин, железо нужно, Хусаин, я этих запчастей жду, а он делает те... Нервотрёпка ежедневная... Но он любил эту суету, эти горячие разговоры, любил эти ежедневные, ежечасные трудности, хотя и ненавидел их...

Каждый раз, когда слышался за околицей шум мотора, Махибэдэр семенила, торопясь на улицу. И сейчас она, заслышав приближающееся тарактенье, вышла к воротам. Но и на этот раз оказалось, что не грузовик проехал, а трактор сына Салиха. Он спешил домой обедать, в прицепе горой лежали вика и овёс. Трактор нёсся во всю мочь, поднимая пыль, за ним бежали мальчишки.

– Тьфу, – плюнула старушка. – Ездит тут дело не дело!..

Доехав до Махибэдэр, сын Салиха ухмыльнулся во весь рот:

– Здорово, тётка Махибэдэр!

И в ус не дует, что в прицепе краденая вика, – среди бела дня с присвистом катит домой. У семей, где много мужчин, дела идут неплохо. Лошадь запряжёт – что-нибудь и домой забросит, на машине или на тракторе работает – тоже домой не пустой едет. С этим как-то мирятся все: конечно, где лошадь валялась – там шерсть остаётся. Не без этого...

Но уж у Салиха Гильми и его сыновей вовсе совести нет. Что он, что деточки – сущие разбойники! А сейчас уж совсем начнут драть колхоз с трёх сторон, чтобы убыток от пожара себе возместить, – не то что о шести, о восьми углах дом поставят!

Махибэдэр ещё потопталась у ворот, поглядела на дорогу: никто не едет. Люди на обед пришли, а Исхака всё нет... Неужто не приедет? Ведь в телеграмме было написано, девушка ясно читала: «Приеду двадцать первого...»

Махибэдэр побрела в дом, села на лавку возле печки. Почувствовала, что устала, тело болит, словно перед непогодой, – не спит она почти теперь со всеми этими заботами, мысли не дают. В висках ломило: угорела, что ли, когда утром хлебы пекла? Поднялась с трудом, засеменила на кухню, взяла с полки пузырёк с нашатырным спиртом, долго нюхала. Эх, деточки, горе с вами!..

### 3

Это уж всегда так. Уезжаешь ли из деревни, приезжаешь ли – без мучений не обойдёшься. Железнодорожного пути нет, а от парохода до Куктау шестьдесят с гаком. Попадётся попутка – твоё счастье, нет – топай пешком.

Исхак, сойдя в Набережных Челнах с парохода в шесть утра, еле-еле дотащился к семи до кладбищенской ограды: знаменитая челнинская лестница в километр длиной – попробуй быстро поднимись по ней с чемоданами! Обтерев со лба пот, стал голосовать. Машины проходили в нужную ему сторону довольно часто и пустые, но, по странности, ни одна не останавливалась.

Отчаявшись, он вышел на середину дороги. Кричал, махал руками, но машины объезжали его, даже не замедляя ход. Исхак достал красненькую книжечку, которая удостоверяла, что он является работником Министерства сельского хозяйства, и принялся размахивать ею. Тогда один из шофёров, сжалившись, остановился и объяснил, что прислали нового инспектора ГАИ, который караулит «левых» пассажиров на выезде за Челнами под мостом. Никто не хочет из-за тридцатки лишиться прав. А так бы, конечно, каждый взял пассажира – деньги никогда не лишние.

Шофёр укатил, оставив в клубках пыли впавшего в полное отчаяние Исхака. Не тащиться же пешком с двумя тяжеленными чемоданами шестьдесят километров!.. На его счастье, из-за поворота показалась запряжённая в лубяную повозку гнедая лошадка с сивоусым возницей. Исхак, подойдя к нему, попросил подвезти.

– Да ведь я скоро сворачиваю, – отвечал возница. – Поеду на пески.

– Довези хоть до моста через яму, – взмолился Исхак.

– А дальше на козе поскачешь?

Сухая просьба не помогла, пришлось вытащить из кармана пятёрку.

Добравшись до моста, Исхак поставил чемоданы и оглянулся по сторонам.

– Эй, – крикнул он. – Где вы тут?

Из кустарника вылез молодой низенький милиционер в большой фуражке, охлопал прутиком запылившиеся брюки, потом воззрился на Исхака чёрными глазками.

– Сидите тут! – выругался Исхак. – Секретку нашёл! В соседних республиках известно, что вы здесь прячетесь!

У милиционера даже ресницы не дрогнули – как стоял, расставив ноги, высокомерно глядя на Исхака, так и продолжал стоять.

– В чём дело, почему шумите, гражданин?

– Я из-за вас с семи часов на дороге торчу, уехать невозможно!

– И не уедете! Распустились шофера вконец, озолотились на леваках!

– Хорошо, а как добираться прикажете?

– Моё какое дело? Мне за этим следить не поручено.

Исхак с бессильной ненавистью оглядел огромную фуражку, сапожки милиционера, потом принялся, стараясь сохранять спокойствие, объяснять, что автобус между деревнями и городом не курсирует, в машины попутные теперь тоже не сажают, как же добираться? Но маленький лейтенант, не слушая, качал головой.

– Моё дело сторона, я должен за порядком следить, а дальше пусть думают другие! – твердил он, сшибая прутиком головки ромашек.

И такому доверили власть, навесили погоны!.. У Исхака чесались кулаки отлупить тупицу, но вместо этого он вздохнул, поднял чемоданы и поплёлся дальше, навстречу горячему, набравшему уже силу солнцу.

По бокам пыльной, в рытвинах и глубоких колеях, разбитой дороги рос грязный репейник, горько пахла полынь. Солнце поднялось высоко, ветра не было. Исхак давно уже снял пиджак, расстегнул ворот нейлоновой рубахи, но всё равно обливался потом, сердце колотилось гулко и часто, словно намереваясь выскочить из груди, в висках звенело. Наверное, поэтому он не сразу обернулся на гудки. Сзади сигналил «зиллок».

– Ты что, братец, решил, что челнинская дорога – это беговая дорожка на Сабантуе? – крикнул шофёр, притормозив и открыв дверцу кабины. – Несёшься, словно на приз. Куда путь держишь?

– В Куктау.

– Садись.

– Закона не боишься?

– Закон под мостом остался. Правда, грозил: догонишь, не сажай! Зверь, а не человек. Как не сажай, если шестьдесят километров! Да в кабину садись, братец, тут помягче, – сказал шофёр, видя, как Исхак, забросив чемоданы, сам полез в кузов.

– Спасибо, тут на ветерке вольнее. Голова разболелась от солнца.

Машина тронулась. Исхак совсем расстегнул пуговицы – ветер приятно охлаждал разгорячённое тело, надувал сзади рубаху. Обтерев мокрое лицо платком, Исхак усмехнулся: платок почернел от пыли.

Наконец машина затормозила на задах Куктау. Шофёр, опуская в карман хрустящую тридцатку, усмехнулся.

– Ну вот и оставили мы закон с носом! Уж дома выпью сто грамм за его здоровье! Икаться ему будет. – И, тронув машину, помахал рукой. – Счастливо погостить!

– Спасибо! – откликнулся Исхак, поворачивая с дороги на свою тропинку.

У воды несколько женщин, белея голыми икрами, складывали сделанные из навоза кирпичи на топливо. Увидев незнакомого мужчину, они сразу обдёрнули подоткнутые под резинки штанов подола. Исхак тоже их не узнал.

Вдыхая знакомый запах кизяка, Исхак не спеша шёл вперёд. Чемоданы словно бы стали легче.

«Кто, интересно, из знакомых встретит первым?» – думал он, приятно волнуясь. На случай, если встретятся ребяташки, Исхак обычно напихивал в карманы конфет, но уже в прошлый приезд он, столкнувшись с ребяташками на тропе, так и не смог угадать, чьи же они. И дети стояли, склонив, как гусята, головы набок, шмыгали носами, настороженно глядели на чужого дядю.

Сегодня ему никто не встретился. Только две козы, бродившие по заросшей сорняками кукурузе, меланхолично последили за ним жёлтыми глазами и продолжали жевать. Над огородами струилось жаркое марево.

Мать писала, что живёт у тётки Зулейхи. Не доходя до улицы, Исхак, поставив чемоданы, обобрал репы с брюк, отряхнул и надел пиджак, причесался. Во рту был горький привкус, руки дрожали.

Прождав целый день, Махибэдэр пошла в прохладный чуланчик, прилегла на брошенном на пол тулупе. Но сна не было. Ворота ли где стукнут, мышшь ли зашуршит – каждый раз сердце у старой начинало колотиться.

У Зулейхи очень голосистый петух. Завидит где-то парящего коршуна – сразу начинает надрываться от крика, словно на пожар сзывает. Взлетит на забор и, хлопая крыльями, раз пять подряд дерёт глотку, орёт своё «кукареку».

– Чтоб тебе камнем подавиться, прости Аллах! – плюнула Махибэдэр и поднялась. Нет, не заснуть. Повесила на гвоздь тулуп, снова вышла во двор. Тени совсем длинные стали, видно,

не придет Исхак. Нипочём ему, что мать истомилась в ожидании. Да и Хусаин из правления посылал узнать, не приехал ли...

Совсем было повернулась уйти в дом, как открылась калитка.

– Сынок!

– Здравствуй, мама!

Крохотная Махибэдэр утонула в объятиях высокого и широкоплечего сына. Вытянув шею, она поглядела за его спину: нет ли снохи? Надеялась, что обрадует-таки её Исхак, придет, ничего не сказав, с женой. Знает ведь, как ждёт мать, чтобы он женился. С этой надеждой Махибэдэр и супу побольше сварила. Конечно, огорчительно встретить сноху в первый раз и в чужом доме, но лишь бы Исхак женился, лишь бы женился! Наживут дом...

Но Исхак опять был один...

Тяжело вздохнув, Махибэдэр засемила к крыльцу. Исхак поднял чемоданы и двинулся следом.

– С утра жду. И суп-то, наверное, переварился, сынок...

Подбросила сухих щепок в очаг, раздула самовар – словно ветром теперь носило старую. Хоть и без снохи, а всё ж таки сын приехал. Сын приехал!..

– Утром, говоришь, пароход пришёл? Господи, какой же ты голодный, наверное! Ну, подожди, теперь уж скоро!

Исхак улыбнулся, глядя, как суетится мать. Кто ещё на свете так обрадуется ему, кто станет так чистосердечно хлопотать?

– Ничего, мама. Ещё можно терпеть, не спеши уж слишком...

Он сходил во двор, умылся, сказал то, что, знал, придётся старой по душе:

– И всё же на нашем конце мягче вода.

– Ещё бы! У нас в колодце самая мягкая вода в деревне! – подхватила обрадованная старушка, протягивая ему вышитое полотенце.

– Это вроде наше полотенце?

– Наше. А вообще-то, не говори, сынок, всё добро погорело! Только мелочь удалось вынести...

Махибэдэр начала быстро рассказывать о пожаре, думая потом перевести разговор на дом – строить его, не строить, но Исхак ни словом не поддержал разговора. Подошёл к стене, начал разглядывать фотографии в рамке под стеклом.

– А что, Ахмадулла-абзый всё так же работает на пасеке?

– Там... Зулейха тоже к нему утром пошла. Готовятся мёд откачивать.

– А Ильдар по-прежнему на Урале?

– Там. Написал, что придет работать на нефть... Сынок, не ходи босой. Полы крашенные, ты потный...

Самовар вскипел, в казане забулькал суп, запахло варёным мясом.

Сначала напились чаю. Исхак с удовольствием поел пресных лепёшек и свежих сливок, Махибэдэр отведала городских гостинцев: маковой халвы, батона с изюмом. Исхак долго, повторяясь, рассказывал, как ехал на пароходе, как сошёл в Челнах и ловил попутку, как ехал на телеге и ругался с маленьким милиционером. Можно было подумать, что в их жизни за долгие годы разлуки не произошло событий более значительных. Махибэдэр с гордостью и нежностью глядела на красивое лицо сына, слушала его голос, но на сердце было тяжело и грустно. Не хочет Исхак говорить о главном. Значит, ещё ничего не решил для себя. А как же быть ей?

После обеда Исхак открыл чемодан и достал пушистый оренбургский платок.

– Это тебе, мама. Зимой хорошо в нём, тепло будет.

– Спасибо, сынок. Спасибо за почёт и уважение... – сказала Махибэдэр и заплакала, зарывшись лицом в мягкий пух платка. Раз привёз такой подарок, значит, уж не будет уговаривать ехать с ним в город... Старая сама не могла понять, рада или не рада она этому.

В открытом чемодане лежал ещё такой же платок.

– Этот кому? – Махибэдэр испуганно и радостно подняла голову. – Снохе?

– Снохе?... – Исхак грустно усмехнулся. – Да нет... Это для Банат-апа<sup>3</sup>.

– Пусть и для Банат будет. Хорошо... – Махибэдэр ощутила, как кольнула сердце ревность. Банат с матерью уравнил, хорош, нечего сказать!.. – А снохе что? Или без подарка обойдётся?

– Пока обойдётся... Нет пока снохи, мама...

Махибэдэр снова залилась слезами.

– Эх, сынок, сынок... Видно, живой мне не дожидаться, когда ты женишься... Грех мёртвых ругать, но кто её поставил на твоей дороге, эту дочку Хаерлебанат! Опять уйдёшь и пропадёшь там?

Исхак отвёл глаза, вытащил вторую шаль из чемодана, аккуратно завернул в газету и положил на край сакэ<sup>4</sup>.

– Надо сходить, мама... – сказал он, помолчав. – Ты сама знаешь, что надо...

Махибэдэр вскинулась, даже щёки покраснели пятнами. Ей захотелось вспылить, наговорить сыну обидных слов, но сдержалась. Столько лет ждала этой встречи, и теперь по-глупому разругаться? Нет... Только на сердце стало горько и сухо, словно песком присыпало...

– От Нуруллы-абзый письма приходят, не слыхала, мама?

– Слыхала, приходят. Никак не успокоится, бродяга, всё ездит. Счастья, видно, ищет. Давно я не встречала Хаерлебанат... У каждого свои дела, свои заботы.

Исхак поднялся.

– Хоть сегодня побудь дома! Я на тебя и поглядеть-то не успела.

– Да я не надолго, мама... Скоро вернусь.

Вот вышел во двор. Открыл ворота. Закрыл. Постоял немного, держась за ручку калитки. Закурил, видно, размышляя о чём-то. Потом зашагал в нижний конец деревни.

Махибэдэр, наблюдая за сыном в окно, всё не верила, что он пойдёт к Банат. Надеялась, что повернёт в верхний конец, к Хусаину, в правление. Неужели так тянет его старая любовь, что, двух слов с родной матерью не сказав, заторопился в дом Сании?

Старая опустила голову на подоконник и тихо заплакала.

Но вот снова скрипнули ворота, Махибэдэр вскочила, утирая лицо подвернувшейся под руку тряпкой. Вернулся, слава Богу!

Кто-то кашлянул во дворе. Это не Исхак.

– Здравствуй, Махибэдэр-тути!

Хусаин...

– Здравствуй, сынок Хусаин... С Исхаком пришёл повидаться?

– Люди видали, приехал будто?

– Приехал... – У Махибэдэр снова навернулись слёзы. – Видишь, дома нет... Ушёл...

Хусаин потоптался у порога, отводя глаза. Сказал бодрым голосом:

– Ну что же, увидимся, раз приехал. Я так, по дороге заскочил... Ничего, пусть сходит, куда ему надо, повидается... Придёт и наш час, не огорчайся, Махибэдэр-тути...

Махибэдэр кивала головой, тайком утирая мокрые ресницы кончиком платка. В то, что придёт и её час, она уже не верила сегодня. Хотя Хусаин говорил очень бодро и улыбался весело, глядя на неё, но глаза у него были виноватые и грустные...

---

<sup>3</sup> Ана – старшая сестра, тётя. Почтительное обращение к женщине, старшей по возрасту.

<sup>4</sup> Сакэ – невысокое, в виде помоста, возвышение, нары.

## 4

Хаерлебанат жила в дальнем конце деревни, который назывался Дубовым проулком. Обычно, когда спрашивают, чей это дом, в деревне отвечают: дом такого-то. По имени мужчины, хозяина. Ну а этот маленький домишко, который зимой снегом едва не до трубы заносило, а летом из зарослей лопуха и чертополоха чуть-чуть окна виднелись, давно уже называли домом Банат.

Нурулла, муж Хаерлебанат, не по своей воле стал «отходником». Как и все в деревне, смолоду он был приучен к деревенской работе, любил её. Едва начал ходить – тут же и верхом научился ездить, не упускал случая забраться на необъезженного жеребёнка и покататься на нём, неважно, что зачастую всадник летел посреди дороги в пыль и вставал с разбитым носом. С шести лет с отцом боронить и пахать уходил в поле, в десять уже косил со взрослыми наравне... За всё смалу брался и старался делать, как взрослые, так же хорошо. Готовил себя к долгой жизни в деревне.

Вырос Нурулла, стал одним из первых джигитов в округе, женился на красавице Хаерлебанат из соседней деревни по любви, устроил пышный пир. Зажили молодожёны дружно и счастливо.

Только вскоре после свадьбы пришла в их дом первая беда. Осенью, когда хлеб молотили, оторвало барабаном молотилки Нурулле кисть левой руки. Какой крестьянин с одной рукой? Горяч был Нурулла и, обидевшись на судьбу, прямо из ворот больницы уехал в город, счастье пытаться. Даже не посоветовался с женой, не сказал ей ничего. Молодая проглотила обиду, когда муж прислал ей письмо и первые деньги. Тогда она ждала уже ребёнка, надеялась, что захочет супруг увидеть первенца, а там, глядишь, и останется. Вместе-то переберются, никакая беда не страшна. Но Нурулла слал ей из города деньги и ситцы, домой же не спешил.

Вскоре Хаерлебанат родила дочь. Девочка родилась здоровой и хорошенькой, как утверждала выдавшая виды бабка-повитуха. Хаерлебанат на радостях подарила бабке своё свадебное платье. Теперь уже ей не было скучно в пустом доме мужа: появилась игрушка, радостная забота, подружка маленькая.

Нурулла тоже обрадовался рождению дочки, прислал жене письмо и отрез на платье, а дочке – большую куклу с закрывающимися глазами. А потом снова как в воду канул. Хаерлебанат ничего не оставалось, как плакать ночами в холодной постели да развлекаться, нянча дочку. Девочка росла весёлой и понятливой.

Но вот однажды, в тёмную осеннюю ночь, в окно постучали. Хаерлебанат открыла дверь и увидела мужа. Она его даже не сразу узнала. Худой, с серым небритым лицом, на деревяшке... Кому не повезёт, так уж не повезёт. Оказывается, Нурулла попал под трамвай, переходя улицу, и ему пришлось отнять ногу выше колена. Остались от весельчака и песенника Нуруллы, первого остролова и балагура на деревенских свадьбах, одни глаза под чёрными сросшимися бровями. Горели, как угли, точно душа Нуруллы сгорела на этих углях...

Ну что ж? Муж есть муж, не прохожий, не откажешься, не закроешь перед ним дверь. Да и любила его всё ещё Хаерлебанат, а больше жалела. Стали жить вместе. Однако если раньше в их доме не было избытка, то теперь поселилась самая настоящая нужда. Первые морщины тронули красивое лицо Хаерлебанат, первая седина засеребрилась в её пышных чёрных волосах.

Приезжали несколько раз за ней братья, звали вернуться в родной дом: никто из них не попрекнёт куском любимую сестрёнку. Рады будут. Но Хаерлебанат не согласилась: выданная дочь – отрезанный ломоть. Да и Нурулла – куда он без неё?

Правда, Нурулла приспособился делать кое-какие работы по дому, несмотря на своё увечье: нянчил дочь, кормил цыплят и утят, рубил дрова, топил печь. Конечно, тоже помощь, но слишком малая, чтобы вытащить домашнюю телегу из колеи нужды. Хаерлебанат билась как

рыба об лёд, работала от темна до темна. Голодными они не были, но и хлеба досыта тоже не едали.

Скоро, однако, в деревне начали создавать колхоз, Нурулла пришёл записываться одним из первых.

– Я знал, что большевики найдут способ, как победить нужду!..

Однако некоторые члены колхоза воспротивились.

– Нечего калек собирать! Мы будем работать, а они хлеб есть?

Среди кричавших был, конечно, и Салих Гильми.

Но Хаерлебанат не дала мужа в обиду. Прибежала в правление, крича, что не по-человечески оставить калеку за бортом, что вдвоём они себя обработают, что Нурулла на этой земле родился и любит её... После долгих пререканий их всё же приняли в колхоз.

Днём Нурулла возился с дочкой и домашними делами, пока Хаерлебанат была на колхозных работах, а вечером, привязав деревяшку к обёрнутой ватой и тряпками культе, шёл сторожить колхозные амбары. Шёл и пел песню:

Скрип-скрип, берёзовая нога!  
И ты была когда-то стройным деревцем,  
А теперь носишь горемычного калеку!..

Амбары стояли довольно далеко от деревни – бывшие купеческие лабазы, в них теперь хранили фураж и семена. Ночью Нурулла чувствовал себя хозяином, и это немного мирило его со своей участью. Но, видно, было на роду Нурулле написано оставаться бедолагой.

Однажды тёмной осенней ночью Нурулла, как всегда, опираясь на здоровенную дубинку, обходил лабазы, мурлыча под нос песню.

У дальнего амбара остановилась подвода, Нурулла сначала не обратил на неё внимания: рядом проходила дорога и подводы часто проезжали по ней. Но эта подвода подозрительно долго оставалась на месте, слышались приглушённые голоса и позвякивание железа. Нурулла похромал к амбару. Из взломанных дверей какие-то люди с закутанными лицами выносили мешки:

– Злодеи! Вы что? – закричал Нурулла. – Перестаньте, стрелять буду...

Но его опередили:

– Подавишься, не ори... – негромко произнёс чей-то знакомый голос, затем раздался выстрел.

Утром колхозники нашли Нуруллу лежащим без сознания возле амбаров, а на складе недосчитались пяти мешков муки. Следствие ничего не дало. Грабителей так и не поймали. Правда, Нурулле казалось, что голос стрелявшего человека был похож на голос Салиха Гильми, но уверен он не был, потому на суде промолчал, чтобы зря не оговорить односельчанина. Надеялся, когда выздоровеет окончательно, проверить самолично, последить за Салихом. Но вышел он из больницы кривым: глаз спасти не удалось.

После этого увечья Нурулла совсем пал духом. Хаерлебанат боялась, как бы не сделал чего с собой. Он перестал показываться на людях, сидел большей частью дома, не снимая и в избе малахая, ухом которого он прикрывал кривой глаз.

– Нет моих сил больше, мать... – взмолился как-то он. – Не могу я так сиднем сидеть, работать хочу.

– Работаешь же по дому, – стала утешать его Хаерлебанат. – Где же найти теперь для тебя, бедолаги, подходящую работу? Да ты не казись! Зря ведь хлеб не ешь, стараешься...

– Какое уж тут старанье, – махнул горько Нурулла здоровой рукой. – Разве это работа! Я по настоящей работе тоскую, разве ты не видишь? Давай уедем. Не может быть, чтобы в большом мире для меня хоть какого-то малого, но настоящего дела не нашлось!

– Куда ж уедем-то мы? – засмеялась горько Хаерлебанат, обняв тощую шею мужа. – Горе ты моё, кому мы нужны с малым ребёнком, раздетые-разутые, в чужих людях?

– Уедем куда глаза глядят. Говорят, в миру птица не погибнет.

– Разве мы птицы? – возражала Хаерлебанат, но ей была понятна тоска мужа. Конечно, тяжело ему сидеть без дела, всеми презираемому. И ей, если говорить правду, тоже нелегко одной семью тащить. Одного Нурулла на сторону она отпустить не хотела, куда ему, калеке, странствовать по свету!.. Да и самой ей тоже трудно было представить, что останется снова в пустом доме с дочкой. Так всё же мужским духом пахнет...

Долгими осенними вечерами под соломенной крышей домика в Дубовом проулке разговоры об отъезде участились. В непогоду, в тёмные дождливые ночи, когда по стёклам избушки хлестал, словно желая их выбить, ветер с дождём, Нурулла тосковал сильнее.

– Если бы хоть какое-то дело, эти воробьиные ночи не казались бы такими долгими и страшными... Сколько можно жить, проклиная тьму и непогоду?

И Хаерлебанат решилась. Собрала немудрящий скарб, забила досками окна, запрягла лошадку в телегу и, повесив на двери ржавый замок, размером с небольшую черепашу, занесла ключ соседям.

– Присмотрите за домом, – попросила она.

И они тронулись в путь.

Нурулла полулежал с мрачным лицом, откинувшись на здоровый локоть, свесив ногу с грядки телеги, другая нога, словно пушечное дуло, нацелилась деревяшкой в небо. Хаерлебанат, ширококостная, с полными руками и высокой грудью, обтянутой стёганым жакетом и фартуком с вышивкой, сидела рядом с возчиком. По щекам её текли слёзы.

Только Сания радовалась путешествию. Всё было ново для неё – телега, полная вкусно пахнущей соломы, тонконогий жеребёнок, семенящий позади и вдруг, взбрыкнув, убегающий далеко в сторону. Мокрые чёрные поля вокруг.

Хаерлебанат, беспокоясь, что жеребёнок заблудится, принималась звать его:

– Бах-бах-бах!

Возчик тоже кликал озорника сердитым голосом, даже Нурулла присоединялся ко всем – длинноногий и ухом не вёл, взбрыкивая, летал по пашне. И только когда Сания звала его своим звонким голосом, жеребёнок подбегал, тыкался под брюхо матери, встряхивал пушистым, как у лисы, тёмно-рыжим хвостиком, потом подходил к телеге, тянулся мордочкой к Сание, приглашая её поиграть...

Так они и уехали в никуда. Где скитались, как искали себе кров и хлеб – однодеревенцы о том не ведали. Весной, однако, от Хаерлебанат пришло письмо. Сначала перечислялись поклоны всем соседям, потом сообщения, что устроились они на одной железнодорожной станции в Белоруссии – Нурулла сторожем, Хаерлебанат работает на дороге, Сания учится. Сыты, обуты, живут в казённой квартире. В конце письма шла просьба присмотреть за домом и за садом, чтобы скотина не потравила, ребятишки деревья не поломали и чтобы постройки и огорожу на топливо не растаскали. По этой приписке соседи поняли, что Хаерлебанат по родному гнезду скучает и домой вернуться рано или поздно надеется. Потрясло всех также сообщение, что устроились они в какой-то неведомо далёкой Белоруссии.

– Ай-яй! – качали головами люди. – Это же надо, в какую их даль, сердечных, занесло!.. Это же, говорят, аж возле самой заграницы, та Белоруссия! Самый край земли...

Но, однако, наверное, тот край земли не был уж так недосыгаем. Следующим летом Хаерлебанат с Санией приехали в деревню. Отодрали доски с окон, повыдергали лопухи и лебеду, закрывшие крыльцо, стали жить.

– Соскучилась, лето здесь поживём, – объяснила Хаерлебанат соседям. – В чужом краю неплохо, но дома, конечно, лучше...

Тогда, в те давние, как сейчас кажется, времена Исхак ещё не был знаком ни с Саниёй, ни с Хаерлебанат. Нуруллу он тоже не видел: жили они в разных концах большой деревни. Однажды только забрёл он, отыскивая пропавшую овцу, в Дубовый проулок и спрятался от разошедшегося дождя под навесом заколоченного крыльца. Из-под лопухов прямо на его босые ноги выпрыгнула лягушка. Исхак вздрогнул. Зловещим показался ему этот заколоченный, почерневший и покосившийся, словно бы умерший, дом. Не стал он пережидать дождь, выбрался за ограду и припустился проулком к себе...

Познакомились они позднее и при довольно забавных обстоятельствах.

Давно, в ту пору, когда и Огурцова гора не была такой лысой, а росла на ней редкая дубовая рощица, имелась в Куктау своя водяная мельница, а при ней запруда. В какое-то дождливое лето, после особенно сильного дождя, запруду прорвало. Починить, конечно, не дошли руки, и весной паводок унёс остатки запруды вместе с мельничными колёсами.

Сначала это никого не обеспокоило, но когда кончилась мука в ларях, жители Куктау стали чесать в затылках. Раньше хоть пуд, хоть полпуда зерна – мельница своя, поехал и смолот. А теперь надо просить подводу, ехать в соседнюю деревню, стоять в очереди, да ещё упрашивать, чтобы твоё зерно взяли. Но хотя и колхоз, и колхозники испытывали большие неудобства, восстановить мельницу так руки и не дошли. Постепенно в ближних деревнях водяные и ветряные мельницы и крупорушки тоже пришли в упадок, развалились. «Что водяная мельница – пережиток старых времён! Паровых настроим!» – говорили руководители, но пока разговорами дело и ограничивалось. Разговоры разговорами, а возить зерно теперь жителям Куктау приходилось аж в самый Балтамак. Большая там у них вода и мельница с четырьмя жерновами.

Время прошло – привыкли, словно так и должно было быть, только ребятишки и молодёжь летом страдали без запруды. От горячего степного ветра в Куктау негде укрыться: ни лесов, ни садов, ни воды хорошей нет. Мальчишки победовали-победовали и решили сами перепрудить мелководную речушку, протекавшую под Огурцовой горой.

Сначала этим занялась самая мелюзга. Выкопали два бревна, оставшиеся на месте старой мельницы, положили их поперёк речушки, подпёрли ивовыми кольями. Нарезали немного дёрна, прибавили к нему навоз и мусор с ближних переулков, получилась-таки запруда, вода начала подниматься. Едва поднялась до колена, полезли купаться – ныряли и плавали, вспахивая носами недалёкое дно запруды. На другой день, прослышав о запруде, на берегу собрались парни постарше. Понаблюдали за малышкой, плещущейся в чёрной, как дёготь, взбаламученной воде, повыгоняли всех. Но вода не оседала, не очищалась.

Тогда пришлось и подросткам засучить рукава. Кто смог, притащили из дому несколько крепких дубовых кольев, спилили в кустарнике Ахми два старых вяза, навозили на ручной тележке камней с Огурцовой горы. Работа шла чуть ли не неделю, присоединились и совсем взрослые парни, привезли ещё навозу на подводах, утащили несколько столбов, которые связисты беспечно оставили за деревней, когда проводили телефон в Алмалы.

Запруда вышла на славу, вода поднялась аж до Дубового проулка.

Исхак тоже с увлечением включился в строительство. Бежал туда спозаранку, пропадал дотемна, опаздывал встречать стадо, выслушивал за это брань сестёр и матери, но оторвать его от увлекательного дела было невозможно. Вместе с другими подростками таскал землю на носилках, прыгая, трамбовал навоз и мусор в плотине.

Работа на запруде примирила враждовавших между собой мальчишек Верхнего и Нижнего конца. Трудились вместе, дружно, не считаясь с тяжестью выполняемой работы.

Когда вода поднялась, закрыв берега, поросшие гусиной лапкой, все попрыгали в пруд, на берегу остался один Исхак. Он не умел плавать. Если бы он сразу бросился вместе с другими, никто бы этого не заметил: плескался бы возле берега, как делали многие. Но теперь уже было поздно, хитрить он не умел, стоял в нерешительности, переминаясь с ноги на ногу, и это заметили все.

– Эй, Исхак, ты что? Лезь давай! – кричали приятели с Верхнего конца.

– Сейчас... Я посмотрю и полезу... – нерешительно отвечал Исхак.

– Да он плавать не умеет! – завопили мальчишки с Нижнего. – Ого! Такой здоровый парень! Позор!

– Не робей! Вот посмотри! Выбрасываешь одну руку, потом другую! Одну, другую, а ногами бултыхаешь!.. Вода сама держит, – кричали приятели с Верхнего конца. – Не срами нас, Исхак!

– Он трус, он трус! – вторили им враги с Нижнего.

Исхак решил пойти в сторонку, к другому концу пруда, и попробовать там поплавать. Ему тоже, глядя на других, стало казаться, что он быстро научится, надо только, чтобы никто на него не смотрел и не дразнил. От этих криков и поддразнивания руки-ноги сводит. Он потихоньку, стараясь сделать это незаметно, начал уходить с пятачка у запруды. Казалось, ему удалось скрыться, как вдруг случилось нечто ужасное.

Пять или шесть взрослых парней нагишом выскочили из воды и с жеребьим ржанием схватили Исхака, содрали с него одежду и хотели бросить в воду. Но Исхаку удалось судорожно обхватить руками толстый кол плетня, он стиснул зубы, зажмурил глаза от страха и словно закаменел. Парни пытались его оторвать, щипали, щекотали под мышками, Исхак только визжал не своим голосом, но рук не расцеплял. Тогда один из парней крикнул:

– Ладно! Давайте утопим его одежду! Захочет – достанет. И искупается заодно.

Они наложили камней в его штаны и рубаху, бросили в воду и ушли. Исхак от обиды заплакал: только что вместе строили запруду, друзьями вроде бы считались и сделали такую подлость! Исцарапанное тело ныло, по плечу стекала кровь. Он долго сидел на берегу, размазывая по лицу кровь и слёзы, не решаясь залезть в воду и достать одежду. В проулке он слышал шёпот и хихиканье наблюдавших за ним из-за плетня приятелей.

Скоро, однако, они ушли, в пруд дружно бултыхнулись гуси и утки, ожидавшие своей очереди, а Исхак всё сидел.

Потом он встал и начал тыкать в воду длинным прутом, надеясь вытащить таким образом свою одежду, но безуспешно.

В это время на горе показались две женские фигуры. Исхак с колотящимся от страха сердцем судорожно заметался: куда спрятаться? И полез в крапиву...

К запруде подошли Хаерлебанат и Сания. Они разулись и долго мылись, разговаривая и пересмеиваясь. Ссадины на теле Исхака, обожжённые крапивой, горели огнём. Не выдержав, он тихо застонал. Хаерлебанат вскочила.

– Кто там? – спросила она, подойдя к крапиве.

Сквозь её негустую заросль она увидела голого Исхака.

– Что ты тут делаешь, сынок?

– Мальчишки... – начал было Исхак, но разрыдался, не докончив фразы. Он поднялся, когда Хаерлебанат увидела его, но, заметив, что черноволосяя, по-городскому одетая девочка тоже направилась в его сторону, снова присел. Крапива словно зубами опять вонзилась в его тело. Исхак обливался слезами.

– Подожди тут, – сказала Хаерлебанат, и они с дочерью быстро пошли вверх по улице.

Скоро Хаерлебанат вернулась, неся старые рубаху и штаны. Почти силой вытащила Исхака из крапивы, выпросила, что случилось, умыла и одела его, увела к себе. Потом они с Санией сходили к воде, достали одежду Исхака, Хаерлебанат выжала её, повесила на плетень. Снова почти силой увела мальчишку в дом, стала поить его чаем с конфетами и расспрашивать.

– Ты чей сын?

– Сын Нурислама.

– Значит, твоя мама Махибэдэр? Я знала её, когда была девушкой. А отец твой убится, я знаю... Сирота ты бедная...

Исхак впервые в жизни попробовал городскую шоколадную конфету. Однако ему мешали смеющиеся красивые глаза Сании. Как не смеяться – в больших штанах и рубахе подросток был похож на старого деда!..

Целых три дня потом Исхак не мог выйти из дома. Тело его покрылось волдырями, волдыри наполнились жёлтой жидкостью и лопнули. Пока он болел, к нему однажды зашли приятели, считавшие, что всё это была просто шутка и обижаться тут не на что. Но Исхак ошестинился, увидев их: он почти возненавидел своих бывших друзей, так зло посмеявшихся над ним. Ушёл за перегородку, не отвечая на уговоры и насмешки, а мальчишек скоро выгнала вернувшаяся с работы сестра. Так Исхак остался без друзей.

Но он не горевал. Выздоровев, побежал в Дубовый проулок к своим спасителям. Там его встретили приветливо.

Исхак и Сания с тех пор стали играть вместе. Конечно, Исхак завидовал так много повидавшей девочке: жила в какой-то далёкой таинственной Белоруссии, ехала по железной дороге, видела большие города, – их Исхак и представить не мог, – большие глубокие реки. Сам Исхак не то что железную дорогу, настоящего леса-то, который был в двадцати километрах от деревни, не видел. Другие мальчишки увязывались за отцами и старшими братьями в дальние поездки, Исхак самое далёкое ездил с матерью в Балтамак, на мельницу. Но вместе с завистью в его душе жило чувство гордости за Санию. Никто в деревне не повидал столько, сколько она, ни у одного мальчишки не было такого товарища!..

Начав ходить к Сание в дом, Исхак вдруг по-новому увидел себя. Он уже стыдился своих застиранных брюк с заплатами на коленях, выгоревшей на лопатках старой рубахи, босых ног. И потом мама и сёстры давно обещали купить ему тальянку с медными басами и двенадцатью белыми клавишами. Хорошо было бы поиграть на ней Сание!..

Но не успела мать купить ему тальянку и новые рубаху и брюки: Сания с Хаерлебанат уехали...

Знал, что они уедут, однако, когда пришёл к их домику с вновь заколоченными окнами, замком на двери и калиткой, завязанной обрывком кудели, пусто стало у него на душе, словно потерял что-то. Исхак даже сунул руку в карман, проверил, здесь ли ножичек с костяной ручкой и рогатка. Богатства его были на месте, а на сердце саднило, как от потери...

Пришла и прошла зима, наступила весна, а Исхак не забывал ни весёлых чёрных глаз Сании, ни подлой измены мальчишек с Верхнего конца. Простить им, снова подружиться с ними он так и не смог. Пережитое потрясение было слишком сильным и на всю жизнь сделало Исхака чувствительным к несправедливым обидам.

## 5

Хаерлебанат не забывала Куктау.

Ежегодно в самый разгар лета она приезжала навестить брошенное гнездо. Приезжала и жила месяц или полтора.

– И глянуть-то здесь не на что, в наших степных краях, – удивлялась она, разговаривая с соседями, – а тянет что-то... Как приеду – словно кровь быстрее течёт, дышится веселей.

Каждый раз с матерью приезжала и Сания. В ней уже ясно проглядывала материнская стать. В отличие от других, так же быстро, как она, растущих девочек, Сания никогда не выглядела безобразно худой, нескладной. Даже в так называемый переходный возраст была в Сание прелесть здорового, ладного жеребёнка. Ясные глаза с длинными жёсткими ресницами, высокий белый лоб, мелкие ровные зубы – всё в ней было хорошо, всем природа наделила её в достатке. Отношения Исхака и Сании постепенно начали меняться.

Если раньше, услышав, что Хаерлебанат с дочкой приехали, Исхак просто радовался и бежал повидаться, то теперь он думал о Сание всю зиму, а с наступлением весны начинал томиться: «Приедут? Не приедут? А вдруг приедет одна Хаерлебанат, а Сания не захочет или её отец не отпустит? На самом деле, что тут для неё интересного? Везде вокруг Куктау мы уже побывали, всё она знает: и поля, и перелески, и овражки... Скучно, наверное, ей здесь, не приедет больше она...»

Но Сания приезжала каждое лето, и с каждым её приездом Исхак всё больше радовался ей. Став на год старше, они замечали, что их отношения, их игры и всё вокруг тоже меняются.

Если раньше, играя на полянках в кустарниках Ахми, девочка и мальчик просто искали кузнечиков для рыбной ловли, то сейчас они часто тихо сидели плечом к плечу, ни о чём особенно не разговаривая, глядели на степи и поля, уходящие до самого горизонта. И была для них тайная прелесть в том, что они могут так далеко обозреть просторный мир, оставаясь незамеченными для людей.

Сания была старше Исхака на два года. Разница эта, не очень заметная в детстве, вдруг в какой-то приезд Сании дала себя знать.

Исхак всегда точно высчитывал день, когда приезжали Хаерлебанат и Сания, бежал увидеть свою подружку, не дожидаясь, пока они чемоданы распакуют. И в это лето он заранее поинтересовался у соседей, когда должны приехать гости из далёкой Белоруссии, вечером, в день их приезда, побежал в Дубовый проулок.

Стадо встречать было ещё рано, потому проулок пустовал. Исхак потоптался под окнами, стеснясь почему-то зайти, убежал, посидел на завалинке позади дома, потом ушёл в конец проулка, думая, что Сания его заметила и сейчас выйдет, как это бывало всегда. Но девушка не показывалась. Исхак снова побежал ближе к дому, послушал: за бревенчатой стеной слышались какие-то голоса. Гости пришли? Ну что ж, когда дома гости, ещё удобнее сбежать!..

Вот уже в проулок стали приходиться старушки с хлебными корками и хворостинами, встречать овец и коз, мальчишки, хвастливо и ловко щёлкавшие длинными кнутами. Вот уже показалось стадо в облаке пыли, послышалось протяжное мычание коров и бляение овец. Сания так и не пришла.

Исхак нарочно прогнал своих овец и корову под их окнами, но Сания не выглянула. Он галопом погнал корову к дому. Перекусил наскоро и снова побежал в Дубовый проулок.

Сердце его колотилось, когда он подходил к дому Банат. Наверное, Сания не приехала...

Из ворот вышли какие-то взрослые нарядные девушки. «В гости приходили, про Санию узнать», – подумал мальчик, и вдруг в одной из девушек признал Санию. Остановился растерянно. Девушки, заметив, что он стоит как вкопанный посреди проулка и молчит, открыв рот, словно язык проглотил, прыснули. Сания окликнула его:

– Исхак, здравствуй. Мы на гулянье идём. Придёшь? Пойдём с нами?

Девушки продолжали хихикать, глядя на Исхака. Исхак багрово покраснел, опустил глаза и тут увидел свои босые грязные ступни с длинными некрасивыми пальцами. Увидел всего себя как бы со стороны: длиннорукого, в старой, ставшей ему тесной рубаше, в старых штанах, белёсыми пузырями вздувшихся на коленях. На пугало огородное он похож, вот на кого!

– Не приду! – грубо сказал он и, повернувшись, побежал по проулку.

Девушки громко засмеялись, а Сания огорчённо крикнула:

– Исхак, ты что? Приходи!

Прибежав домой, Исхак сел на ступеньках крыльца, обхватил голову руками, потом вдруг вскочил, налил в кумган тёплой воды, побежал во двор. Песком и мылом долго оттирал он свои заскорузлые руки и ноги, ободрав их едва ли не до крови. Однако ноги не стали от этого красивее. Нарвав повилики, он тёр ноги и руки, но результатов снова не добился.

Торопясь, пока не вернулись с улицы сёстры и мать, достал со дна сундука новые брюки, которые мать спрятала, погладив, до школы, потом вытащил из-под сакэ свои ботинки. Отбросил. Конечно, нужны сапоги! И ростом бы повыше казался, и вообще взрослей бы в них выглядел. Подумав, нашёл в чулане отцовские, принёс, померил. Велики... Напихал в носки сапог старые чулки, бумагу и, радуясь, что успел собраться до прихода матери, дал тягу.

На деревню спускались лёгкие сумерки. Вечер был тёплый, влажный. В окнах некоторых домиков уже засветились огоньки керосиновых ламп. Молодёжь обычно гуляла у подножия Огурцовой горы, неподалёку от запруды. Исхак ещё издали услышал смех и как рябой Василь наяривает на гармони. Потом девушки запели протяжную красивую песню. Исхак даже замедлил шаг, слушая. Ему показалось, что он различает среди других низкий голос Сании.

Девушки смолкли, опять раздался смех, потом затопали, загикали, пустившись в пляс, парни. Исхак и раньше бегал смотреть на гулянья, хотя сёстры и прогоняли его. Очень он всегда завидовал рябому Василию, тот играл действительно хорошо. Девушки и парни обращались к Василию уважительно, заискивали перед ним, прямо в рот смотрели, когда тот говорил. Отсюда и пошла, вероятно, мечта Исхака о тальянке.

Сегодня он даже близко не подошёл к гуляющим. Крутился в отдалении, не спуская с Сании глаз.

Сания стояла вместе со взрослыми девушками, ходила с ними в хороводе. Потом Хусаин с Верхнего конца потоптался перед ней, как гусак, хлопая широкими штанинами брюк, пригласил на танец. Сердце Исхака ревниво сжалось, он, волоча сапоги, подошёл ближе к кругу. Сания плясала хорошо, изгибаясь в тонкой талии, потряхивая косами. Исхак глядел на неё, то краснея, то бледнея, боясь даже моргнуть. Пляски кончились, девушки, взявшись за руки, начали водить хоровод. И опять этот длинношей, с какими-то дурацкими тонкими усиками над розовой губой Хусаин встал перед Санией, вызывая её в круг. Все захлопали в ладоши, закричали:

– Гостя пусть споёт!

– Надо Санию петь заставить!

Сания опустила глаза, залившись краской, потом, пересиливая себя, улыбнулась и запела, не ожидая, пока её попросят ещё.

Цветов много, но их не рву я...  
Хочу выбрать самый душистый.  
Пока не найду самый душистый,  
Пусть не дует ветер,  
Не облетают цветы...

Исхак никогда прежде не слышал этой песни. Видно, даже рябой Василь не знал её, потому что обычно, когда начинали песню девушки, он подстраивался к ним, тихо ведя мелодию. Сейчас гармонь молчала, Василь, положив руки на мехи, тоже глядел на Санию.

Когда песня смолкла, все захлопали, засмеялись. Сания, закрыв лицо руками, смущённо отбежала с центра круга и оглянулась, словно ища кого-то. Исхак, боясь, как бы она его не заметила, попятился и, споткнувшись, упал возле парней, которые, сидя на корточках, курили в сторонке. Двое из них вскочили, подхватив Исхака под руки, потащили в круг.

– Эй, Василь! Играй! Тут молодой петушок есть, пусть спляшет.

Исхак вырывался, болтая ногами. Тут, к его стыду, сапог соскочил с ноги, размотался чулок, вылетела бумага.

– Пляши! – парни вытащили Исхака в центр круга.

– Пусти, барсук! – стиснув зубы, пытался освободиться Исхак.

За него вступились сёстры. Увели в сторонку, помогли надеть сапоги. Исхак стоял багровый, едва не плача, и вдруг со всей силы ударил Хусаина, который смеялся вместе со всеми. От неожиданности Хусаин упал, а Исхак бросился бежать. У Хусаина товарищей было много, догонят – по шее накомылят!

За ним пустились. Исхак приостановился, будто что-то обронив, и вдруг дал подножку первому из догонявших. Тот упал, на него повалился следующий, вышла свалка. А Исхак, стянув сапоги, босиком помчался в гору, спрятался в кустарнике. Погоня отстала. Погоготали, погикали ему вслед и снова продолжили танцы.

Исхак сел на землю, сжимая кулаки от стыда и бессилия. И чёрт его дёрнул пойти на гулянье! Теперь, наверное, он кажется Сание смешным маленьким мальчишкой...

Внизу играла гармошка, слышались топот, хохот, песни. Исхак задумался и не услышал, что кто-то взбирается на гору. Только когда хрустнула ветка за его спиной, он вскочил, сжав кулаки.

– Исхак, это я! – услышал он низкий голосок Сании. – Далеко ты спрятался, еле нашла...

Исхак молча натянул сапоги, сел. Ему было стыдно глядеть на Санию. Сания опустилась рядом.

– Платье замажешь! – буркнул он.

– Ничего. Они больно тебя побили?

– Ну да! Они и не догнали меня.

– А этому с усиками ты здорово влепил. Он прямо упал даже.

Нет, Сания не ругалась, она смеялась.

– Это Хусаин, – весело заговорил Исхак. – Это он мою одежду тогда в воду бросил, помнишь? Ненавижу его! Но теперь я отомстил.

– Здорово ты ему дал!

Они оба замолчали, глядя на длинные тени кустов на матово-синей в лунном свете поляне, на таинственно поблёскивающее зеркало запруды. В нём отражалась, покачиваясь, тоненькая стружечка месяца.

– Как красиво... – прошептала Сания, улыбнувшись. – Я больше не буду на гулянье ходить.

– Почему?

– Будем сюда ходить, ладно? Мне нравится тут. Красиво...

– Думаешь, я Хусаина боюсь?

– Да нет, что ты! Я просто не хочу больше туда ходить... Или так придумаем: я буду вроде ходить на гулянье, а после убегать сюда. Хорошо?

С каждой ночью обрезочек месяца делался всё круглей, свет от него пронзительней и ярче. И каждый вечер, побыв немного на гулянье, Сания внезапно уходила, прогнав увязыва-

ющихся следом поклонников, поднималась на гору и радостно протягивала Исхаку холодные руки.

– Здравствуй!

– Здравствуй... – мальчик поднимался, ощупывая Санию радостным и тревожным взглядом больших чёрных глаз. – Долго ты сегодня, еле дождался.

– Не могла уйти, Хусаин глаз не спускал, следил.

– Пойдём?

– Пойдём...

Взявшись за руки, они медленно брели по склону горы. Когда пары с гулянья начинали расходиться, Сания присоединялась к группе девушек, живущих рядом, а Исхак, прячась в тени плетней, провожал её до самого дома.

Махибэдэр и Хаерлебанат, конечно, узнали, что их дети дружат, ни та, ни другая не увидели в этом ничего плохого. Наоборот, как-то так вышло, что дружба детей повлекла за собой сближение семей. Теперь они стали звать друг дружку в гости, чтобы испробовать удавшуюся стряпню, либо просто посидеть, поболтать за чашкой чая в свободный вечер. Как Махибэдэр, так и Хаерлебанат – родом из других деревень, родни в Куктау у них не было, потому обеим женщинам казалось удачным, что благодаря детям они сдружились домами.

Наступила весна сорок первого года. В январе Исхаку исполнилось тринадцать лет, а Сание пошёл шестнадцатый. Однако теперь Исхак не чувствовал этой разницы, то ли он повзрослел внутренне, то ли Сания была ещё ребёнком по складу души, только письма, которые они писали друг другу, были одинаково горячи и искренни.

«Ты чувствуешь, – писала Сания, – как к весне мои письма становятся длиннее и подробнее? Это не только потому, что дни прибавились и уже теперь можно вечером писать, не зажигая света. Нет... Просто я всё сильнее скучаю по Куктау, тороплю время отъезда...»

Исхак вспыхнул, прочтя эти строчки, сердце его заколотилось. «Скучает по Куктау? – подумал он, не смея произнести: – Скучает по нашим встречам? По мне?...» Ведь и в прошлые годы Сания писала, что с нетерпением ждёт приезда в Куктау, но тогда Исхак ещё не искал за строчками иного смысла. Теперь он желал этого, иного смысла, запоем читал стихи о любви татарского поэта Хади Такташа, пробовал писать стихи сам.

Если раньше Исхак хранил письма Сании среди учебников, на подоконнике, то теперь ему почему-то стало неприятно от мысли, что сёстры или мать могут нечаянно прочесть письмо. Он сделал себе сундучок и стал хранить письма на чердаке, тщательно запирая его. В этом же сундуке он хранил полотенце, полученное им в награду за борьбу на прошлогоднем Сабантуе, а также свои стихи. Неумелые, но искренние и горячие, конечно, о любви, всё с одним и тем же посвящением: «С. Н-й».

За эту зиму он сильно вытянулся и ещё больше похудел. Мать, наверное, замечала взрослую тоску в его глазах, гладила его ладонью по спине, говорила, смахивая слезинку радости:

– Совсем взрослым парнем стал, сынок!

Лето обещало быть изобильным. Весной прошли щедрые дожди, потом наступило мягкое тепло. Буйно зазеленели луга и склоны холмов, даже там, где веки вечные было голо, теперь запестрело обильное разноцветье, в траве на солнечных склонах заалела земляника. В пруду прибавилось рыбы. Если раньше рыбу удили для забавы и азарта, то теперь запросто можно было наловить на два-три хороших жарева чебачков и голавлей. Буйно пошли в рост и хлеба. Во ржи человек рисковал заблудиться, а в яровых не видать было коня с дугой.

Исхак уже который год летом ходил в колхоз на работы. Сёстры и мать работали в овощной бригаде, Исхак – в полеводческой. К осени ему сёстрами была обещана тальянка с медными басами в награду за труд.

В один из июньских дней вороной жеребец привёз тарантас, в котором сидели Хаерлебанат и Сания.

Ещё за неделю до их приезда Исхак отодрал с окон доски, а мать и сёстры помыли в доме и в сенях полы, вытерли везде пыль, чтобы Хаерлебанат и Сания вошли уже как бы в обжитой дом. Однако Исхак, хотя он тоже принимал участие в этой коллективной уборке, зайти к Сание днём постеснялся. Встретились они только вечером.

Исхак томился в этот день, торопя время встречи. Ему казалось, что встретятся – и сразу будут говорить без конца, рассказывать, как думали друг о друге, что думали... Может, он рискнёт прочитать Сание свои стихи. Встретились – и молча пошли рядом, искоса поглядывая друг на друга. Изменились, оба изменились – не узнать... Господи, до каких же пор ещё им меняться?

Исхак вытянулся, торчат из коротких рукавов большие, словно грабли, кисти рук, корявые пальцы с чёрными каёмками под ногтями. Лицо красное: обветрело в поле. В эту зиму он отпустил по-взрослому волосы, они топорщатся в разные стороны, придают опалённому солнцем лицу какое-то беспокойное, неуверенное выражение.

Хотя они почти одного роста, Сания рядом с Исхаком кажется совсем взрослой.

Она подросла за этот год в общем немного, но уже оформилась в складную девушку с тонкой талией и полной грудью, икры ног стали стройней, щиколотки тоньше. Косы она теперь укладывает на голове венком, лоб от этого кажется выше, а взгляд лучистых чёрных глаз мягче.

Они шли рядом, не касаясь друг друга, чувствуя какое-то внутреннее разочарование от этой вдруг наступившей сложности отношений, от неожиданной «взрослости». Столько готовились сказать, пока жили поврозь, а теперь слова не шли с языка, да и нужно ли было говорить их, эти слова, копились-то они для другого, родного человека! А рядом идёт чужой... Исхаку просто заплакать хотелось. Разве этой взрослой красивой девушке нужен он, длиннорукий подросток, нужны его неумелые стихи? А он-то так мечтал, так торопил сердцем эту встречу!..

Не сговариваясь, они свернули к кустарнику Ахми, сели на «свое» место, молча глядя на серебряную бескрайность полей, сливающихся с горизонтом.

– А запруда где? – спросила Сания дрогнувшим от неловкости голосом: безмолвие окружило и придавило их, чтобы нарушить его, требовалось усилие.

– Плотина прорвалась... – ответил Исхак, и Сания вдруг услышала новые для себя басовито-мужские нотки в его голосе.

– Почему она каждый год прорывается?

– Теперь половодье с каждым годом становится всё более бурным.

– Почему, Исхак? Речка всё больше мелеет, а половодье сильнее становится?

Исхак вздохнул глубоко, улыбнулся. Уж это он сумеет объяснить Сание, это его конёк! Он давно уже читает книжки по сельскому хозяйству, вырезает статьи из газет. Готовится стать агрономом...

– Леса вырубают, Сания... Дождевые вешние воды не поглощаются землёй, не успевают. Кое-как окропят поверхность и стекают ручьями. Леса – водяные копилки, а их вырубают.

– Почему? Неужто люди не понимают, чем это грозит?

– Не знаю, Сания... Когда-нибудь, может, буду знать. Хотелось бы.

Теперь стеночка, воздвигнутая между ними в начале встречи, будто сломалась. Наступила прежняя простота. Исхак вскочил, протянул Сание руку, и они зашагали, взявшись за пальцы, по гребню холма, освещаемые луной.

– Как бы мне хотелось показать тебе белорусские леса! Побродить там с тобой... Ягоды, грибы... Цветы какие...

– Я бы тоже хотел приехать.

– Приезжай. Папа рад будет.

– Откуда он обо мне знает?

– Ты же мой друг...

Исхак вспыхнул и, остановившись, заглянул Санию в глаза. Помолчал, хотел что-то сказать, потом, смущённо махнув рукой, пошёл дальше. Он был счастлив...

Однажды Сания попросилась с ним на сенокос. Исхак, придя с гулянья, долго готовил для неё лёгкие грабли, тёр стекляшкой черенок, чтобы Сания не набила мозоли на ладошках, зубья тоже потёр стеклом. Лёг он, когда уже заря занималась, заснул и никак не мог проснуться. Слышал сквозь сон голос соседского мальчишки Вильдана:

– Война! Война началась.

Думал, что это снится ему, потом заставил-таки себя открыть глаза, поднялся. День начинался пасмурный. Густой туман выжал на оконных стёклах слёзы, в избе было темно. Скоро просеялся мелкий нудный дождичек: нечего и думать о сене.

И потом какое тут сено – война!.. Не верится, что это всерьёз, на самом деле. Страшное слово «война». Война!..

Исхак побродил по кричащей и плачущей суетящейся улице, потом забрался на сеновал, где Вильдан и мальчишки обсуждали деревенские новости, лёг, положив подбородок на сцепленные пальцы, слушал в полуха, размышлял.

– Война...

Вильдан поёт песню, которую часто передавали по радио: «Мы войны не хотим, но себя защитим, к обороне готовы недаром. И на вражьей земле мы врага разгромим малой кровью, могучим ударом!..»

В газетах вот тоже пишут: «Своей земли ни пяди не отдадим врагу, война будет идти на территории противника...»

Если всё так легко и просто, почему же плачет жена Сафи-абый<sup>5</sup>, который должен вечером явиться в военкомат? Почему он со скорбным лицом обнимает то жену, то детей? Тракторист, с мускулами, круглыми, как булыжник, победитель-батыр на всех Сабантуях?

– Замолчи! – грубо крикнул вдруг Исхак Вильдану. – Заткнись!

Едва на землю спустились сумерки, Исхак побежал к кустарнику Ахми, хотя мать кричала ему вслед, чтобы он сидел дома в такое тревожное время. Но ему надо было увидеть Санию.

Ждал он долго, но Сания не шла. Исхак всё же надеялся, что придёт, сидел, упорно глядя в темноту, его бил озноб от вечерней сырости и от страха. Внизу постанывал, побулькивал родник, задевая длинные ветви плакучих ив, на вытоптанном пустынном пятчке над запрудой, казалось, бродили тени гуляющих. Многих парней призывали на фронт, Хусаина тоже.

Деревня, несмотря на поздний час, тревожно шумела. Мелькали фонари возле амбаров: резали баранов. Плакала где-то гармошка рябого Василя, его тоже призывали. Все здоровые мужчины и парни – батыры, лучшие джигиты, цвет Куктау, – уходили на фронт. Сиротела, пустела деревня...

Исхак упрямо ждал, глядя в темноту, сердце колотилось где-то под горлом. Глубоко внутри зрела тоскливая уверенность, что поломается его беспечная весёлая жизнь с этого дня, что дальше всё пойдёт по-другому.

Ах, если бы жив был отец! Можно было бы опереться на его совет, просто на уверенное мужское слово. Что сёстры, мать – женщины...

И утром деревня не затихла. Принесли ещё кипу повесток, во дворах слышался плач, скрипели и хлопали калитки, стучали, поднимаясь вверх и опускаясь вниз, колодезные журавли. По улицам сновали люди. В казанах варилось мясо, топились бани, пеклись хлебы, жарились блины...

Выгнав утром скотину, Махибэдэр вернулась с известием, что Хаерлебанат с дочерью тоже уезжают.

---

<sup>5</sup> *Абый* – старший брат, дядя. Почтительное обращение к мужчине, старшему по возрасту.

Хаерлебанат сказала, что очень беспокоится за мужа: как он там? Железная дорога – место беспокойное, потом всё-таки Белоруссия, граница рядом. И Нурулла – сумасшедший, в такую тревожную минуту как бы не выкинул чего. Надо собраться всей семьёй и вместе переживать беду... Махибэдэр считала, что она права.

Исхак вышел за ворота. Утро было серым и прохладным. На улице, несмотря на ранний час, суетились; громко разговаривали люди, словно никто и не ложился спать в эту ночь.

В проулках уже стоят запряжённые телеги и повозки. Вот тебе и война! Кто бы мог подумать, что она своей кровавой рукой в первый же день дотянется до крохотной деревушки, затерявшейся в Закамье. Даже в дни больших Сабантуев по улицам Куктау не ехало сразу столько телег и подвод... Все самые захудалые кони получили по повозке, вытащены из дворов даже плетёные двуколки. Столько народу уезжает!

Следом за подводами идут старухи, женщины, дети. Мальчишки, которые вчера ещё хвастились, что «мой папа германцев идёт бить», сегодня тоже хнычут, глядя на матерей.

Исхак крутился между подводами – тому лошадь поможет запрячь, этому закрепить расшатавшееся колесо на повозке, с тем просто попрощается. Все уезжают...

Дядя Василь, Шарип, сват Карам...

В Дубовом проулке к народу присоединились Сания и Хаерлебанат. Они сидели в старенькой телеге, застеленной соломой, запряжённой тощим меринком. Увидев Исхака, Сания соскочила с телеги. Они пошли рядом по обочине.

– Уезжаете?

– Уезжаем...

Многие парни хорошо выпили перед отъездом. Они стараются казаться весёлыми и бесшабашными, свистят, щёлкают кнутами, гоняются, объезжая впереди едущих прямо по ржи. Рыдает гармонь.

Уезжаю, уезжаю,  
Уезжаю, остаётесь...

Вот, оказывается, какая это жестокая песня!.. Слёзы текут. А ведь каждый вечер на гуляньях пели её раньше, ходили с этой песней по улицам в обнимку, горланили, стараясь перекричать друг друга.

Уезжаю, уезжаю,  
Уезжаю, остаётесь...

Перехватывает горло, на глаза навёртываются слёзы. Тянется позади, по обеим сторонам дороги, помятая колёсами рожь. Помяты, сломаны подошвами новых лаптей и старых сапог стебли жёлтого горлицы. Сломанное счастье, разбитые надежды, порушенная жизнь... И неизвестность впереди.

Кто вернётся, кто встретить выйдет?...

Поля, поля, прощайте, уходят хозяева ваши, от щедрого сердца, большими надеждами, поливавшие из года в год вас своим потом. Они уходят на другие поля, поливать их кровью своей...

– Хоть бы не пели, что ли... – сказала Сания дрогнувшим голосом. – И так тяжело...

– Уезжают на фронт, как не петь? – У Исхака в горле тоже всё время стояли слёзы.

– Неужто нельзя тихо уехать?

Тихо живи, тихо люби, тихо уезжай навстречу смерти своей? Разве это для настоящих мужчин такая доля, Сания? Исхак подумал так, но произнести вслух не было слов. Он вздохнул.

– Пускай поют...  
– Очень тяжело... – Саня вдруг заплакала.  
– Я скучать по тебе буду, Саня... – сказал Исхак, беря девушку за локоть. – Не плачь, не надо... Может, всё ещё будет хорошо.  
– Может... – Саня со всхлипом вдохнула воздух, улыбнулась. – Я тоже буду скучать.  
– Остайся! – попросил вдруг Исхак. – Не уезжай, страшно мне что-то...  
– Нет... Я – тут, мама – в дороге, папа – там... Трое в трёх местах... Мама говорит, заберём отца, сюда вернёмся и из деревни никуда не уедем!.. Слышишь, Исхак, никогда больше не уедем.

Исхак остановился.

– Никогда не уедете?

– Никогда... Я бы не хотела...

– Я бы тоже тогда не уехал. Кончил бы институт сельскохозяйственный и вернулся в деревню...

Саня улыбнулась грустно, кивнула. Когда доехали до большой дороги, многие провожающие начали возвращаться.

– Сколько не иди, всё равно с собой не заберёшь. Пусть Аллах сохранит вас и даст свидеться скоро, живыми-здоровыми!

Однако те, кто не в силах был ещё расстаться, решили сесть на подводы и ехать вместе с солдатами до пристани. Исхак под шумок тоже пристроился на подводе Сании, но его прогнал Салих Гильми.

– А ты что лишним грузом тут мотаешься? У тебя же никто не уезжает?

– Я возчиком еду, – огрызнулся Исхак. – Подводу обратно пригоню.

– Ничего, без тебя обойдутся! – Салих за руку сдёрнул его с телеги, помог устроиться на его месте какой-то тётке.

Хаерлебанат тоже сказала:

– Возвращайся, сынок. Мы ведь не на войну уезжаем. Глядишь, как солнышко и обернёмся...

Саня попыталась улыбнуться, но губы у неё задрожали, она кивнула ему и отвернулась. Когда подвода отъехала довольно далеко, Саня вынула платок и замахала им. Исхак неподвижно стоял посреди дороги, пока белоснежная трепещущая точка эта не скрылась за бугром. Тогда он круто повернулся и помчался к деревне. Бежал так быстро, что заболело под ложечкой.

Медленно брёл он пустынными улицами деревни; ветер гнал вдоль плетней гусиные и куриные перья, всякий мусор. Во дворах ревел голодный скот: многие, не надеясь вернуться сегодня, скотину не выгоняли. Домой Исхаку идти не хотелось. Он поднялся на Огурцовую гору, забрался в кустарник Ахми, сел на заветном месте. На сердце было тоскливо, безысходно, и мучила обида.

«Некого провожать?... Если бы жив был отец, он бы тебе дал, поганый Салих! Одной рукой телегу мог поднять... Батыр был. На фронт бы пошёл фашистов бить... Ещё смеет твякать на меня, подлая лиса! Сам-то остаётся небось, хитрый...»

Домой Исхак пришёл поздно вечером. Махибэдэр, беспокоясь, ждала его.

– Долго как, сынок. До самых Челнов, наверное, провожал?

– Нет, мама.

– Тогда поешь и ложись. Завтра рано в колхоз пойдём. Бригадир раза три заходил, говорит, живой души мужской в Куктау не осталось. Вот как... Старухи, женщины, дети – вся опора колхозу.

Исхак лёг в избе, но сна не было. Под окнами прошли девушки, запели негромко печальную песню, похоже – заплакали в голос. Как не плакать – парней, любимых на фронт прово-

дили... А он, Исхак, – любимую девушку. Он один в деревне такой. И посочувствовать некому, поговорить не с кем...

Вдруг он поднял голову, услышав незнакомые звуки. Это мать расстелила чистое полотенце на кухонном сакэ и творит намаз. «Боже, сохрани мой народ... Развей врагов... Боже, помоги мужчинам нашей деревни вернуться домой живыми. Не отдай нашу землю злым супостатам!»

Исхак уткнулся в подушку, из глаз брызнули слёзы.

В деревне всю ночь шумели, ходили, слышалось ржание лошадей и скрип тележных колёс: возвращались из Челнов подводы. Двери магазина не закрывались. Перед самой зарёй в Нижнем конце деревни прозвучал выстрел: это застрелился, взяв охотничье отцовское ружьё, хромой Нурутдин.

Исхаку нравился этот тихий парень, ходивший зимой в белом заячьем малахае. В школе он держался всегда в одиночку, стыдясь своей хромоты, во время перерывов стоял, подперев плечом косяк двери, смотрел большими печальными глазами, как другие носятся по двору.

А теперь вот, бедняга, не смог вынести, что сверстники его уехали на фронт, он же остался... Первая жертва войны. Первая, но не последняя.

## 6

Сестёр Исхака послали на трудовой фронт, в марийские леса, на лесоповал, мать работала на овечьей ферме, пропадала там день и ночь, Исхак работал возчиком, тоже иногда сутками не возвращался домой. Всем приходилось туго.

Он вырвал из старого учебника географии карту и прикрепил к стене над своей постелью. Взятые немцами города он отмечал чёрными стрелками. Фронт стремительно катился по земле России. Исхак со сжимающимся в тоскливом предчувствии сердцем следил, как катится война к тому городишку, где жила Сания. Когда же обведённая красным карандашом точка осталась далеко под немцами, Исхак сорвал карту со стены и сунул на дно сундука.

Писем от Сании не было. Ни она, ни Хаерлебанат ни разу не написали с тех пор, как уехали. Исхак писал письмо за письмом, но все они уходили, как в прорву.

Что случилось?... Иногда Исхак в отчаянии принимал решение – поехать самому в эту неведомую Белоруссию и разыскать Санию. Потом, одумавшись, он безнадежно махал рукой. Куда он поедет, почти не знающий русского языка подросток, где он разыщет её в этом хаосе, в этой крови?

Фронт подкатился к Волге.

Исхак не мог этого понять. Как же, почему мы допустили это? В довоенных картинах танки легко валили деревья и преодолевали водные рубежи, красноармейцы с криками «ура» одерживали победу за победой... А теперь фронт у Волги...

Передаваемые из рук в руки газеты превращались в лохмотья, но и в них невозможно было найти ответа на этот вопрос.

Однажды по деревне разнеслась весть: вернулся с фронта после тяжёлого ранения солдат. Это был сват Карам. Исхак встретил его на улице на другой день. Расспросив о здоровье, о ранении, Исхак потрогал блестящую на груди Караме медаль «За отвагу».

– За что тебе её дали?

– Сбил немецкого снайпера.

Значит, и их убивают. И они не из железа, тоже могут погибать под пулями! Лицо мальчика прояснилось.

Прошёл год и ещё год. Потом ещё один... Война продолжала уносить людей. Матери уже не радовались тому, что сыновья взрослеют – не успевали у птенцов окрепнуть крылья, огненный вихрь уносил их из гнезда, и никто не мог сказать матери, вернётся ли сын.

Подходила очередь и одногодков Исхака. Однажды, во время облавы на Норкейском базаре, его вместе с рослыми подростками и хромыми мужиками, торгующими чем придётся, привели во двор комендатуры. Исхак понадеялся: вдруг отправят на фронт? Но, проверив документы, его выставили за ворота...

Война войной, а молодость молодостью. Жизнь, природа брали своё. Девушки и подростки, оставшиеся в деревне, весенними вечерами приходили на традиционный пятачок. Пели песни, танцевали, потом бесшумно, как духи, расползались по домам. В деревне петь они не решались: едва ли не каждый второй дом получил похоронки.

На рослого широкоплечего Исхака с тёмной полоской над губой давно уже заглядывались девушки. Как-то одинокая солдатка Джамал, живущая на Верхнем конце деревни, пригласила его в гости на фаршированную курицу.

– Чекушка у меня найдётся, ещё от проводов осталась. Курица жирная, зарезала: петухом уж стала кричать. Ну и ещё кое-что будет...

Джамал, подтолкнув его плечом, расхохоталась. Исхак посмотрел на неё с неловкостью. Он хорошо помнил её мужа Вадута. Недавно пришло сообщение, что он погиб под Ленинградом.

Конечно, он не пришёл к Джамал, и, встретив на другой день Исхака, женщина изругала его последними словами.

– А ты, оказывается, баба, а не мужик!.. Я-то думала, если усы растут, то и сила есть! Нет, не родится от тебя ни сын, ни дочка, только котёнок дохлый... Чтоб тебе в жизни ни одной женщины не знать!

Джамал сама утром допила ту чекушку, бесполезно просидев у окна всю ночь. Исхаку неловко и больно было слушать жалкие злые слова. Он молчал, отводя глаза, держась за шаткую слегу изгороди телячьего загона. Джамал вдруг стихла, заплакала и обняла Исхака.

– Прости, милёнок! Не знаю, что и несу... Места не найду себе после похоронки, хоть повесься! Думала, может, так забудусь, да Аллах уберёт!.. Не ты, Гитлер проклятый виноват.

Исхак и раньше любил одиночество, а с годами вовсе привык быть один. На людях больше молчал. А оставаясь один, мурлыкал песенку Сании:

Цветов много, но их не рву я...  
Хочу выбрать самый душистый.  
Пока не найду самый душистый,  
Пусть не дует ветер,  
Не облетают цветы...

Всё-таки жила в нём надежда, что придёт время, кончится война, приедут в деревню Хаерлебанат и Сания. Они встретятся...

Но цветов становилось всё меньше, а ветры дули всё суровой. Ветры приносили с собой беду за бедой. Когда люди молили дождя, ветры приносили засуху, когда молили ясных дней, ветры приносили град и бурю. Шёл по земле голод. Председателем колхоза давно уже был сухорукий Салих Гильми, которого в деревне ненавидели. Исхак несколько раз пробовал схватиться с ним, защищая женщин, но положение дел это не меняло.

– Терпи, – уговаривала его мать. – Аллах терпеливых любит. И учись. Если не хочешь, чтобы тобой командовали такие, как Салих Гильми, – учись. Придёт время, ты будешь ими командовать...

Исхак учился. Весной тысяча девятьсот сорок пятого года он закончил десятилетку. Экзамены на аттестат зрелости должны были принимать учителя с высшим образованием. В школе, где учился Исхак, таковых по военному времени не оказалось, поэтому всех десятиклассников отправили в райцентр.

Целый месяц Исхак жил в новой школе вместе с ребятами, съехавшимися со всего района, сдавал экзамены. Трудный был месяц, но и он подошёл к концу, экзамены кончены.

Кончены экзамены!.. Исхак сидел в большом берёзовом парке позади школы. И как уцелели в години бедствий эти белые нежные стволы, устремлённые к небу? Как хорошо, что у людей и в тяжкие времена не пропадает жалость к прекрасному, хорошо, что сберегли всё-таки этот белоствольный парк... Откинувшись на спинку скамейки, глядя в голубое безоблачное небо, Исхак отдыхал душой и телом.

Экзамены кончены...

Свершилась справедливость на земле, зло растоптано в логове его...

Свобода...

Свободен теперь Исхак – что хочешь, то и делай, совсем свободен.

«В движении – благо», – так говорили древние. Но движение должно быть осмысленным. Что ж предпринять?

Учиться дальше? Остаться в деревне? Съездить летом в те края, где затерялась его черноглазая ласточка Сания?...

Скрип немазанных тележных колёс отвлек Исхака от раздумий. Он посмотрел на пыльную дорогу, виднеющуюся сквозь белые стволы берёз, и увидел почтальоншу тётю Нису, ведущую под уздцы почтового мерина. Исхак вскочил и бросился к дороге.

– Тётя Ниса! Захвати мои вещички домой. Сам я и пешком дотопаю... Сдал экзамены!

– Сдал? Молодец! Тпру, сатана, то с места не стронешь, то остановиться не может. – Безбровая круглолицая почтальонша с отёкшими толстыми ногами почесала кнутовищем за ухом. – Тпру, говорят тебе, Сулагай!.. Да нет, тяжело будет, милок, сегодня. Мерин кожа да кости, а я уж Нурулле обещала захватить его барахлишко. Завтра тебя отвезу.

Исхак побелел, как бумага.

– Который Нурулла?

– Да муж Хаерлебанат. Приехали. Ждут на выезде из посёлка. Так что тебя уж завтра захвачу.

Не дослушав, Исхак рванулся бежать в конец посёлка, где у амбаров приезжие обычно караулили попутные подводы. Ещё издали увидел он на суходоле узлы, чемоданы и несколько человеческих фигур, расположившихся прямо на молодой траве.

«Трое их приехало? Двое? Эх, не спросил у Нисы-апа, сейчас уж знал бы всё... Белое платье? Да нет, это узел, поставленный на чемодан. Двое... Что-нибудь с тёткой Хаерлебанат? Или с Нуруллой-абый? Он ведь болел... Нет, Нурулла приехал, сказала Ниса-апа... Может, Саня ушла к колодцу за водой? Жарко сегодня...»

Добежав до амбаров, Исхак замедлил шаг. Уже можно узнать приезжих. Это Нурулла с одним глазом, сверкающим из-под косо сдвинутого малахая. А эта худая совершенно седая женщина – Хаерлебанат. Она, затенив глаза ладонью, смотрит на идущего.

Поражённый предчувствием, Исхак остановился.

Тёплый, прекрасный день. Светит ясное солнце. Зеленеет возле амбаров молодая свежая трава.

Но вот пробежала по поляне чёрная тень. Исхак изумлённо поднял голову. На небе ни облака, а солнце стало чёрным. Почернела трава, почернели листья деревьев, почернели лица людей.

– Затмение солнца, – сказал хрипло Нурулла. – В газетах писали, сегодня затмение.

Хаерлебанат глядела на Исхака, узнавая и не узнавая его. А когда убедилась, что это он, вскрикнула и упала лицом на траву.

Не надо было ничего объяснять Исхаку. Этот дикий вскрик, вырвавшийся у матери его любимой, сказал ему всё.

Над амбарами с пронзительным граем кружилось испуганное затменьем вороньё.

## 7

Тот, полузаброшенный людьми конец деревни, где стоял покосившийся домик Хаерлебанат, пришёл в полный упадок за годы войны. Жившие там перебрались ближе к центру деревни, а брошенные хибары порастащили. Жерди огорожи, ворота, калитка, даже ступени крыльца – всё пошло на дрова. Во всём конце разорены где дома, где дворы, где хозяйственные постройки. Надвинулся на деревню пустырь, выкинул вперёд рати чертополоха и пижмы, заплёл нехоженые крылечки повиликой, дорожки скрыл под лебедой и мятой. За четыре года в мёртвое место превратился некогда шумный и весёлый Дубовый проулок, старые люди, проходя мимо в поисках заблудившейся овцы, творят молитвы: жутко становится, когда глядишь на всю эту разруху.

Исхак скопил лебеду и крапиву возле крыльца и под окнами, потом принялся за чертополох и пижму. Поругавшись с Салихом Гильми, он своей волей забрал лошадь и привёз из дальнего леса воз сухих осиновых дров, отвёз во двор Нуруллы и половину торфа, запасённого для себя. Потянулся из трубы вросшего в землю домика в проулке Дубовом пахучий дымок, пошли на этот дымок и люди, протапывая на травяном проулке широкую стёжку, придавшей обжитой вид заброшенному месту. Шли не с пустыми руками: невозможно было достать съестного тогда ни за деньги, ни в обмен. Кто нёс миску муки, кто три-четыре яйца, кто картошку в переднике. Махибэдэр тоже испекла из остатков муки лепёшки и принесла. Звала в гости к себе, но Нурулла и Хаерлебанат отрицательно качали головами: не до гостей. Слишком тяжело на сердце, никак всё ещё не могут примириться с потерей, хоть и столько времени прошло.

Сания погибла при бомбёжке, когда они с Хаерлебанат ехали в Белоруссию. Схоронила мать дочку на каком-то безвестном полустанке, добиралась потом до своего старика одна, побелели за дорогу, как снег, волосы...

Исхак зачастил вечерами в Дубовый проулок. Приходил, каждый раз принося то чашку муки, то немного патоки из сахарной свёклы, то плошку сливок, он садился на лавку, ведя полубессвязный разговор с Хаерлебанат, смотрел на сакэ, где, покрытый залатанным одеялом, лежал Нурулла. Дорога отняла у старика последние душевные и физические силы, теперь он почти не хлопотал по дому, оставив и мужские, и женские дела Хаерлебанат, больше лежал на сакэ, дремал или глядел в тёмный угол избы единственным, горящим, как уголь, глазом.

Исхак ходил сюда, потому что с известием о смерти Сании жизнь для него потеряла смысл. Раньше он мечтал об учёбе, о поступлении в институт, видя рядом с собой стройную фигуру Сании, слышал её ласковый, низкий голос. Это видение давало ему силы переживать любые трудности, любые унижения: впереди было счастье. Теперь он не знал, что делать дальше, да и не было у него желания что-нибудь делать. Не хотелось напрягаться, думать о чём-то, что-то предпринимать. Каждый вечер ноги тащили его в дом Хаерлебанат. Он сидел на лавке, смотрел на мать, припоминал милые черты Сании, тосковал, верил и не верил, что никогда уже больше её не увидит.

Махибэдэр встревожили эти ежевечерние посещения. Хотя она понимала, что приехавшим нужна помощь, но ещё ясней она видела, что мальчик её опустил крылья после страшного известия и с каждым разом всё больше и больше теряет себя. Подобно надоедливой осенней мухе, стала Махибэдэр жужжать над ухом сына, пользуясь любым предлогом, а то и без предлога: надо учиться дальше.

– Коли уж во время войны с голоду не померли, сейчас перебьёмся. Может, налоги снизят... Буду масло, яйца продавать, без помощи тебя не оставлю, сынок! Сами на картошке перебудуем. Голова на плечах у тебя хорошая, учись! Не всё таким, как Салих Гильми, верх брать...

Это мушиное жужжание принесло-таки свои результаты. Исхак стал реже бывать в доме Банат, возможно, ещё и потому, что там ему тоже дали понять: постоянное его присутствие раздражает, бередит рану... Съездил в Казань, подал документы в сельскохозяйственный институт, его приняли. Когда наступила пора уезжать учиться, Исхак всё же, не выдержав, решил зайти к Хаерлебанат, попрощаться.

Когда он пришёл, Хаерлебанат мыла посуду после обеда. Исхак взглянул в тот угол, где обычно лежал на сакэ Нурулла.

– Вышел на завалинке посидеть, – сказала Хаерлебанат, поймав его взгляд. – Погреться на последнем солнышке...

Исхак вышел на зады. Нурулла сидел на завалинке, опёршись обеими руками на палку, подставив заходящему солнцу лицо. Заметив Исхака, он улыбнулся.

– Ну что, сынок? Удачно съездил?

– Можно сказать, удачно, – отвечал Исхак, усаживаясь рядом. – Поступил на агрономический факультет, Нурулла-абый.

– Молодчага, молодчага, – покивал добродушно Нурулла. – Хвалю!

– Да не за что особенно хвалить, – усмехнулся Исхак. – Конкурс был маленький. В другие институты поступить трудней. Не идёт в сельское хозяйство молодёжь.

– То-то и оно, – кивнул Нурулла. – За то и хвалю, что ты пошёл.

– Боялся я... Русский плохо знаю.

Нурулла поднялся, допрыгал на своей деревяшке до зарослей чертополоха, заполонивших всё видимое вокруг пространство, с силой ударил по ярко-красным тугим головкам палкой.

– Видишь?... Вот чего никто не боится! А ведь тут до войны поля всё были, хлеб рос, картошка... Осень ведь, сынок! Раньше глядишь отсюда: жёлтая стерня на полях и скирды, копны выстроились, как шеренги солдат... Во дворах пшеницу, рожь молотят, в клетях свежее душистое зерно лежит, как золото... Окна закрывать не хочется: хлебом пахнет... Подводы скрипят – зерно на мельницу везут... А сейчас? Тишина, сыростью пахнет да пылью от чертополоха этого... – Он запрыгал по поляне, сбивая палкой головки чертополоха, яростно сверкая единственным глазом. – Эх, Исхак... Не будь я калека... Зубами бы грыз этот чертополох, чтобы вернуть поля людям! Море пшеницы нужно, чтобы накормить досыта людей, так они в войну наголодались... Нежность к земле нужна, чтобы она снова хлеб рожать стала... Трактора, люди нужны, перепахать всё это. Знания... Молодец, сынок, что хочешь агрономом быть. Самая нужная теперь профессия... Когда уезжаешь?

– Завтра, Нурулла-абый, завтра. – Исхак поднялся, чтобы идти домой, но Нурулла удержал его, повёл в избу.

– Мать, – сказал он Хаерлебанат. – Вроде ты сватов проведать собиралась? Что они не заглядывают?

– На работе, наверное... – отвечала Хаерлебанат, с тревогой глядя на мужа.

– Ну вот и сходи, навести. – Нурулла улыбнулся, кивнул ободряюще. – А мы с Исхаком дом покараулим. С ним вместе мне не скучно будет...

Хаерлебанат помолчала, потом сняла фартук, аккуратно повесила его на верёвку возле печки, накинула на плечи старую шаль с кистями. Поставила на стол керосиновую лампу без стекла.

– Сынок Исхак, не уходи, пока я не вернусь. Вместе чаю попьём.

– Не уйдёт, не беспокойся! – нетерпеливо сказал Нурулла.

Хаерлебанат ушла, Нурулла выгреб красный уголёк из золы в печке, запалил лучинку, зажёл лампу. Потом достал из-за печки покрытую пылью и паутиной бутылку, обтёр о штаны, поставил на стол. Поставил две чашки с отбитыми ручками, бросил связку начавшего желтеть

лукового пера, достал соль в спичечном коробке. Поколебавшись, отрезал от краюшки два тоненьких ломтика хлеба. Плеснул в чашки спирту.

– Не пью я, Нурулла-абый.

– А я тебя и не потчую.

Исхак покраснел.

– Это спирт. Ногу растираю, когда сильно болит. А когда душа болит – внутрь употребляю. Ну? – Нурулла поднял чашку. – Давай за компанию?

– Спасибо, Нурулла-абый. Не хочу быть червем, который добро переводит.

– Ничего. За хорошее не спрашивай, а этого добра всегда достать можно. Вон крещёные татарки такие мастера стали самогон варить, что пусть твой спирт в сторонке постоит!

Нурулла взял свою чашку, пошевелив губами, словно читал молитву, закрыл глаза и опрокинул спирт в рот. Поперхнулся, выдохнул шумно, из здорового глаза выкатилась слеза и, вильнув по морщинистой щеке, протекла на заросший седой щетиной подбородок.

– Отвык... – сказал Нурулла, переведя дыхание. Захрустел луком. – В молодости баловался, сейчас отвык...

Нурулла замолчал, Исхак тоже молча смотрел на него, положив подбородок на кулак упёртой в колено руки. Где-то на другом конце деревни играла гармонь, не какая-нибудь трофейная, а самая настоящая тальянка. Играла мелодию «Ялкын» – грустную и душевную. Нурулла поднялся и, держась за стену, подпрыгал к окну, распахнул его. Мелодия стала слышнее, в окно потёк прохладный травяной воздух, смешанный с шершавым запахом чертополоха.

Нурулла сел опять на лавку, поднял бутылку, посмотрел и налил себе ещё немного спирта. Выпил, на этот раз не поперхнувшись, вытер рукавом губы. Глаз его словно остекленел, скулы пошли пятнами.

– Хорошо играет, подлец! Кто это?

– Не знаю... – Исхак пожал плечами. – Рябого Василя убили... Из молодёжи кто-нибудь. Я-то давно не хожу на гулянья.

Нурулла покаивал головой, улыбнулся грустно.

– Не хочешь выпить? Ну, не надо... Не пей... У тебя ещё вся жизнь впереди: учись, становись на ноги... Каждому своё: тебе учиться надо, а Хаерлебанат вот плачет, глаза не просыхают... И легче ей так, наверное... А я закладываю иногда, сынок... Плакать не могу. Нету слёз. Мужчина один раз в жизни плачет, потом весь век помнит. Тот не мужчина, что поплакал да забыл, а потом опять поплакал. Такому Аллах по ошибке бороду прицепил. «Слёзы мужчины – это кровь сердца, зря их лить нельзя», – говорил мой покойный отец. Эх, любил он, сынок, деревенскую работу, любил хлеб растить! Я в него пошёл... Да не пришлось покрестьянствовать. Бодливой корове Бог рог не даёт!..

Нурулла смолк, задумавшись, слушая тальянку. Молчал и Исхак. Потом Нурулла открыл ящик стола, достал красную орденскую коробочку. Открыл. Там тускло поблёскивал эмалью орден Красной Звезды.

– Вот. Это мне за то, что партизанам помогал, дали.

Исхак с забившимся сердцем взял в руку тяжёлый холодный кусочек металла.

– Жили, не умея жить... – сказал задумчиво Нурулла. – Того, что имели, не ценили... Мало одного ребёнка в семье, детей нужно много иметь. Вот и уничтожил враг мой корень... Но я мстил, как мог... Есть и моя капля в чаше победы.

– Почему же вы об ордене никому не говорили? Надо было сказать в правлении. Как-то бы нашли, чем помочь...

– Ну нет! – вспыхнул Нурулла, стукнув по столу кулаком. – Чтобы я со своими бедами к Салиху Гильми пошёл? Не так ты меня представляешь, парень... Да и кончится скоро его власть. Не могут таким народом, который Гитлера свалил, подобные Салиху Гильми командовать. Я ещё увижу, как на этих полях, заросших чертополохом, будет колоситься пшеница. Я

ещё прижму к груди горячий каравай, размером с мельничный жёрнов, и отрежу лопот... Но для этого надо молодым учиться, сынок. Тебе надо учиться.

Видно, кончился керосин в лампе: язычок огня затрепетал и погас. Подпрыгнула на стене огромная тень Нуруллы, размахивающая руками, – и всё погрузилось во мрак. Тяжко запахло тлеющим фитилем.

Исхак вздохнул, поднял чашку, белеющую перед ним на столе, и вдруг выпил спирт. Из глаз потекли слёзы, но в темноте Нурулла не мог их видеть. Разжав судорожно сцепленный кулак Нуруллы, Исхак пожал его ладонь. Дрожь тела Нуруллы передалась Исхаку, его тоже начал бить озноб.

Скрипнула калитка, у крыльца раздалось сухое покашливание, зашаркали торопливые шаги. Нурулла вздохнул, сказал негромко:

– Хаерлебанат пришла...

Выйдя от Нуруллы, Исхак сразу не пошёл домой. Надо было успокоиться. Он пошёл через заросли чертополоха давно не езженной дорогой в поля. Дорога была неровная, кочковатая, заплетена травой. Исхак в темноте то и дело спотыкался, раза два даже упал, больно ударившись коленом. Подобрал какой-то прутик, Исхак стал с силой сшибать головки чертополоха. Головки ломались, сгибаясь, но ни одна из них не упала. Разве победишь такого врага детским прутиком? Трактора, технику надо на эти поля! Удобрения, людей... Прав Нурулла. Тысячу раз прав!

Дойдя до большой дороги, Исхак прислонился к телефонному столбу, закрыл глаза, слушая гудение проводов, точно стаи летучих мышей носятся зловеще, пищат вокруг Исхака, будто это чертополоховое поле подступило к нему, тянет колючие уродливые руки...

Вот на этой дороге они расстались. На этом перекрёстке.

Почему не умолил остаться? Почему не уговорил, не упал на колени перед Хаерлебанат? Ведь подсказывало же, кричало тогда сердце: останови, не отпускай!.. Никуда!..

Но – что ж? Задним умом каждый крепок. Раз ты жив – надо жить. Надо, выходит, учиться, чтобы снова зашумели пшеницей под ветром эти поля. Пусть хоть другим людям будет легче...

Исхак повернул домой.

Наутро у него болела голова, ныло, точно избитое, тело. Он спустился вниз к роднику и, достав ведро ледяной воды, умылся, потом окатился, раздевшись до пояса. Стало легче.

Махибэдэр, уложив в его баул лепёшки, вдруг расплакалась:

– В добрый путь, сынок... Пусть ослепнут твои враги... Будь здоровым и сильным. Не забывай родной дом... Береги хлеб, не выбрасывай никогда, если даже зачерствеет или заплесневеет... Хлеб – это святое. Изголодался народ...

– Будь здорова, мама, – обнял её Исхак. – Не беспокойся обо мне. Всё будет как надо...

Попрощавшись с соседями, вышедшими к воротам проводить сына Махибэдэр, Исхак поднял баул и заторопился к конюшням. Он отправился вместе с подводами, везущими хлеб на элеватор для сдачи государству. Только к вечеру они прибыли в Челны. Подводы свернули к элеватору. Исхак, попрощавшись, пошёл на пристань.

## 8

Пристань гудела, кипела народом. У Исхака упало сердце. Когда он ездил сдавать экзамены, то проторчал тут три дня, пока дождался парохода. Спал у знакомой в саду. Но тогда хоть ночи были тёплые...

Спустился вниз. К пристани близко не подойдёшь. На дебаркадере под навесом тесно, мешок к мешку, чемодан к чемодану, сидели, лежали люди. Дети, старики, инвалиды, женщины... Русские, татары, ещё какие-то... Гудит пристань, как разорённый улей. Куда едут? Домой?... Разбросала война людей по разным концам страны, теперь каждый в родное гнездо стремится... Нервы у всех напряжены, лица злые, то и дело по пустякам вспыхивают ссоры.

Исхак долго топтался у пристани, не выпуская из рук баул. Если бы он сел, то непременно заснул бы: устал после бессонной ночи, да и дороги – шестьдесят километров. А спать нельзя: шмыгают между людьми, то собираясь группой, то снова растекаясь по пристани, подозрительного вида парни в маленьких кепочках с пуговкой, с толстыми папиросами в углу рта.

Так и проходил Исхак до рассвета, стараясь не сомкнуть глаз, почти не присаживаясь. Утром умылся в Каме, зачерпнул горстью тепловатой воды, на поверхности которой плавали масляные пятна, напился. Съел лепёшку, отряхнул брюки, потёр сапоги пучком травы. Опять прошёлся вдоль пристани.

Однако ходи не ходи, билет тебе на блюде никто не принесёт. Исхак увидел группу молодых парней, разговаривающих о чём-то с пожилым речником. Среди них Исхак узнал парня, с которым учился в школе, он вроде тоже поступил в какой-то институт. Исхак подошёл ближе. Из разговора он понял, что молодёжь – студенты, едущие в Казань, а речник – начальник пристани.

Студенты, помяная номера каких-то приказов, требовали, чтобы их вне очереди отправили в Казань. Особенно бойко сыпал параграфами и выдержками из статей, приказов высокий однорукий парень. Исхак, сообразив, что ему надо держаться за этих ребят, втиснулся в толпу студентов. Однако те приняли его враждебно. Однорукий цыкнул презрительно:

– А ты куда втираешься, серая скотинка?

Ничего не попишешь: по одежке встречают... И в прошлую поездку в Казань Исхак терпел всякие неприятности из-за ветхого своего пиджачка да залатанных брюк. Достав из внутреннего кармана вызов, Исхак молча показал его однорукому.

– Без вас законы знаю! – раздражённо говорил начальник пристани. – Только вашего брата как собак нерезаных, а пароходы ходят редко. Ладно, пойду сейчас позвоню...

Он скрылся за обшарпанной дверью, на которой было написано: «Посторонним вход воспрещён», пробыл там довольно долго, потом высунулся:

– Давайте, заходите чередом. На ночной уфимский пароход в четвёртый класс...

Студенты обрадованно завопили:

– Ура! Корма наша!..

Через заднюю дверь они втиснулись в будочку кассира, начальник пристани придирчиво проверял документы.

Те, кто стоял в очереди снаружи, увидели, что билеты уходят на сторону, зашумели.

– Без очереди билеты продают!

– Меченые козлы Аллаха...

– По какому праву?...

Начальник что-то объяснял, пытаясь перекричать орущих, барабанивших в окошко и дверь кассы людей. Однако студентов всё-таки наделили билетами четвёртого класса. Получил билет и Исхак. Однорукий и тут не преминул пошуметь:

– Я инвалид Отечественной войны, а вы меня на корму, на холодный ветер провожаете? Я буду жаловаться на вас!

Но у начальника уже лопнуло терпение.

– Нужна каюта, жди неделю! – заорал он, выхватив у однорукого билет. – Кто хочет четвёртый класс, тут барин нашёлся?

Однорукий, ругаясь и грозясь, заполучил обратно билет, студенты довольной толпой повалили из будочки. Тут их окружила очередь. Началась брань на чём свет стоит, но молодые локти быстро распихали ругающихся стариков и женщин, студенты вырвались на свободное пространство перед пристанью. Возбуждённо шумя, продолжали обсуждать удачу. Однорукий спросил Исхака:

– Из какого института вызов?

– Из «сельхоза»! – радостно откликнулся Исхак.

– Из какого? – удивлённо поднял брови однорукий.

– С агрономического факультета сельскохозяйственного института, – назвал Исхак полностью, подумав, что собеседник не расслышал.

– Врёшь!

– Почему? Зачем мне врать?

– Значит, дурак, – усмехнулся собеседник. – Экзамены сдавал или дядя-блат за шиворот в науку протащил?

– Благ... – обиделся Исхак. – Да я в городе и не знаю никого. Конечно, экзамены сдавал.

– Какая же умная голова тебе, бедолаге, посоветовала?...

– Никто не советовал... – пробормотал Исхак. – Поступил, и всё...

Однорукий издевательски хохотал.

– Безрогая корова! Ты же оттуда через месяц ноги унесёшь! Ну, чудак, деревня серая... Ладно! – великодушно хлопнул вдруг он Исхака по плечу. – Мне тебя жаль, парень! Приедем в Казань, заберём вместе твои документы. И потом – прямо к нам. Я тебе помогу. – Он достал папиросу и ловко прикурил, держа коробок и спичку в ладони. – Я член профкома института. Улажу.

– Куда к вам? – спросил Исхак.

– В двухгодичную юридическую школу, – отвечал однорукий, посмеиваясь и попыхивая «Казбеком». – На черта тебе этот «сельхоз»? Не надоело в колхозе маяться? А главное – секи: чем жить под законами, лучше их издавать! Так древние говорили.

Однорукий, с удовольствием затягиваясь дымом, поглядывал на Исхака.

– Давай познакомимся. Я Мунир-абый Тазюков. Всю жизнь меня благодарить будешь. У нас всё лучше, чем в других институтах. Стипендия выше, столовая, общежитие... Два года проучишься – и прокурор. Ты знаешь, как живут прокуроры в районах? Одних гусей едят! – Однорукий смачно присвистнул. – Ясно? Знаешь, сколь сладки гусиные лапки?...

Поняв, что однорукий смеётся над ним, Исхак покраснел и оглянулся на парней, иронически прислушивающихся к разговору.

– Спасибо, мне это не подходит, – сказал он и быстро отошёл от однорукого.

Его догнал парень, с которым они вместе учились.

– Эта лиса верно пашет. Кому сейчас нужен «сельхоз»? Ни одна девушка в Казани не пойдёт на танцы с парнем из «сельхоза», точно тебе говорю. Деды наши не учились в институтах, однако собирали урожай дай бог... Не этому сейчас учиться надо, чтобы в люди выбиться.

– Что вы пристали ко мне с этим «сельхозом»? – оскорблённо огрызнулся Исхак и пошёл быстрее. – В люди! Нашлись «люди»!..

Парень отстал.

Деды не учились. Верно. Только с наукой, наверное, ещё больше хлеба собрать можно. А главное, он хочет быть агрономом, а без диплома теперь агрономом не больно будешь. Он

должен хозяином вернуться к полям, заросшим чертополохом. А прокурор? Что ему до прокуроров и до бедных гусей, лапки которых те едят! Один раз он видел в райцентре старого прокурора в шинели с блестящими пуговицами. Невысокий, толстый, с добрым лицом, прокурор шёл из бани, ведя трёх мал мала меньше мальчишек. Вот и всё, что он знает о прокурорах... Не индюк же он, чтобы зариться на блестящие пуговицы!.. Да ладно, в конце концов, не из-за чего расстраиваться.

Рассуждая так и уговаривая себя, Исхак взобрался по лестнице на гору над пристанью, перевёл дух. Ладно, тут можно посидеть спокойно, раз билет уже есть, посмотреть на Каму. Место тихое, далеко вокруг видно...

Неподалёку от лестницы собрались пожилые татары с ручными тележками. Один из них подошёл.

– Куда отвезти джигита?

– В самую Казань! – буркнул Исхак, отходя в сторону.

Но ага не обиделся, кивнул добродушно и, вернувшись на прежнее место, снова сел на корточки.

Исхак тоже опустил на траву: ноги гудели. Едва сел, сразу разморило, потянуло ко сну. Исхак тарашил глаза, глядя на Каму, на синие леса на той стороне. Вот со стороны Казани показался крохотный пароход, загудел хрипло и протяжно. Народ на пристани зашевелился, старики с тележками тоже поднялись, подошли ближе к лестнице. Пароход загудел ещё раз и, выпустив клуб чёрного дыма, пристал. Навели трапы, из недр парохода стал появляться народ, поползли по лестнице тяжело нагруженные мужчины, женщины с детьми, замелькали солдатские гимнастёрки.

– Солдаты возвращаются! – крикнули в толпе, сгрудившейся у лестницы.

Исхак, вскочив, тоже присоединился к глазающим. Старики с тележками зашумели, начали весело приветствовать первых появившихся, звенящих орденами и медалями солдат.

– Хэй, живой человек хоть когда-нибудь да вернётся!

– С приездом вас, джигиты! С победой!

Возвращаются отцы, сыновья, женихи, мужья. Всё-таки хоть кто-нибудь да возвращается...

Искреннее оживление вокруг и скупые слёзы радости встречающих подействовали возбуждающе на Исхака. Он, тоже радуясь, с какой-то неясной надеждой глядел на поднимавшихся по бесконечно уходящей вниз лестнице солдат.

Да, живой человек когда-нибудь да вернётся. Живой человек...

Кто-то окликнул его:

– Исхак, ты?

Исхак, не узнавая, глядел на высокого старшину с небольшой бородкой и усами над полной верхней губой. За плечами у него был вещмешок, на груди два ордена и медаль.

– Не узнаёшь? Гляди лучше! – усмехнулся старшина.

– Хусаин?...

– Узнал всё же? Ждёшь кого-нибудь?

– Да нет, сам уезжаю...

Держась за руки, Хусаин и Исхак отошли в сторону. Помолчали, разглядывая друг друга. Оба, конечно, сильно изменились за эти годы. Столько воды утекло...

– Куда уезжаешь?

– В Казань, учиться. А ты совсем в деревню?

– Совсем... На чём ты приехал? Не захватят меня?

– На подводе, пойдём посмотрим...

Юноши пошли к элеватору, но подвод из Куктау уже не было. Хусаину ничего не оставалось, как дожидаться утра. Они снова вернулись на пристань, сели на траву на бугре.

- Это что за крест? – спросил Исхак.
- Польский орден.
- Большим ты человеком стал, Хусаин... – с некоторой завистью пробормотал Исхак.
- Где нет лейтенантов, там мы генералы! – Хусаин, сняв фуражку, платком вытер вспотевшую голову. – Надо бы заставить и челюсти поплясать. Ты не против?
- Я, как пионер, – всегда готов!
- Сало твёрдоносого употребляешь? – спросил Хусаин, доставая из вещмешка консервную банку и хлеб. – Который бегаёт: чух-чух-чух!
- Исхак расхохотался:
- Поросёнок? Я бы употреблял, да редко достаётся!
- Он тоже вынул из баула яйца, лепёшки, две головки лука и соль. Постелили газету, всё разложили на ней. Только собрались есть, их окружили оборванцы.
- Солдат, найдётся продажный шпик?
- Купим, хочешь за деньги, хочешь за спирт!
- Топайте отсюда! – цыкнул на них Хусаин. – Нахальные собаки... Всю дорогу так: только соберёшься поесть, они в рот глядят!
- Нарезав хлеб, Хусаин намазал на него сала, облупил яйцо:
- Ну как?
- Идёт, не задерживается! – Исхак, смакуя, откусил от краюхи хлеба с салом. – В деревне на такую еду не рассчитывай. Самое лучшее – блины из ушка.
- Вроде даже и не слышал. Что такое?
- Режешь картошку толстыми ломтями, кладешь на кирпичи пода, после, как печь протопилась. Ничего, тоже лопать можно... Особенно, когда брюхо подведёт – так и летит, аж за ушами потрескивает!
- Не страшно, – усмехнулся Хусаин. – Не такое за войну повидала головушка. Председателем всё Салих Гильми?
- Он.
- Вот это похуже дело.
- Конечно, похуже... Да куда денешься? Мужчин, кроме Салиха, в деревне почитай что и нет. Осталось на весь колхоз шесть лошадей, на них и возим, и пашем, и пляшем возле них.
- Теперь ясно, почему ты из деревни тягу даёшь.
- Ты же знаешь, в какой я институт иду! – оскорбился Исхак.
- Ладно, я шучу. – Хусаин похлопал его по руке. – Ешь, не огорчайся. Ваш год счастливый – дошёл черёд, война кончилась. Учись, возвращайся в деревню, агроном нужен... Мне вот учиться не придётся. Мать плоха очень, да и дети брата убитого на мне остались...
- Кончив есть, Хусаин закурил. Исхак покачал головой:
- Ты здорово приучился к этому зелью.
- Чем нам гореть, пусть табак горит. – Хусаин помолчал и вдруг спросил, глядя в сторону: – Как семья Нурулла-абзый?
- Исхак вздрогнул, помедлил с ответом, не зная, что сказать.
- Сёстры мне написали про Санию. Верно ли это?
- Исхак кивнул так же молча...
- Я поверить не могу... – Хусаин сжал виски кулаками. – Вот и война... – После долгой паузы он сказал: – Любил я эту девушку... До сих пор её голос слышу.
- Он взглянул в глаза Исхака, блеснувшие невольной слезой, и отвернулся. Смял папиросу, отбросил, потом опять нервно закурил.
- На обратном пути через Белоруссию возвращался. Заехал на ту станцию, где жили они. Расспрашивал – никто не знает. Под самый корень фашист там всех извёл...

Спустились сумерки, над Камой закружился туман, потянуло холодом от воды. Загорелись огни бакенов. Внизу на пристани заиграл аккордеон. Мужской высокий голос спел куплет по-татарски, потом сразу же запел по-русски. Песня была жалостливая, протяжная. Хусаин покачал головой.

– Эх стонет...

– Это слепой солдат, – пояснил Исхак. – Танкист... оба глаза сгорели. Я ещё вчера вечером видел его. – Помолчав, он добавил: – Как грустную песню услышу, я тоже всегда Санию вспоминаю... Сердце болит.

Парни сидели на берегу плечо к плечу, чувствуя тепло друг друга. Общее горе сблизило их. Молчали, глядя на Каму, слушали песню, а когда песня смолкла, слушали грустную тишину холодного вечера. На серой глади реки тревожно стояли крохотные точки сигнальных огней: здесь мель, осторожно...

– Вот и осень настала, – сказал Хусаин, поведя плечами. – Холодные вечера...

– От воды тянет холодом, – ответил Исхак. – Остыла уже.

Опять долго сидели молча, курили.

– Нет... – заговорил Хусаин. – Мы ещё должны жить. Жить, чтобы свернуть шею всяким проходимцам вроде Салиха Гильми!.. Я пол-Европы обошёл. Какие города видел, какие страны! Разве я смогу жить по-прежнему, как трава растёт?... Переделаем жизнь, Исхак, возвращайся!

– Вернусь... Очень хочу скорее вернуться...

За разговорами не заметили, как сверху подошёл пароход. Долгий гудок его поднял Исхака на ноги.

– Хусаин, мой пароход!

– Пошли, я провожу тебя. – Хусаин вскинул вещмешок на плечо.

– Охота тебе потом на эту лестницу опять лезть?

– Ничего. Всё равно тут холодрыга, до утра в сосульку обратишься. Пойду солдат поищу, наверняка тут тоже кто-то ночует. За воспоминаниями и ночь скоротаешь быстрее.

– Давай понесу, – Исхак потянулся к вещмешку, Хусаин махнул рукой:

– Спасибо, он лёгкий. Я ведь трофеи не собирал, как некоторые...

Внизу огромная толпа разом рванувшихся к пароходу людей монолитно колыхалась, сжимаясь всё плотней и плотней. Внутри пищали дети, кричали женщины, слышались брань, плач. Исхак, обняв на прощанье Хусаина, тоже рванулся к этому сотнеголовому монолиту, вклинился в него, пробивая дорогу к трапу сильными плечами. Втиснулся на трап, побежал, как и все, толкаясь и ругаясь, на корму, кое-как отыскал незанятый крохотный кусочек палубы. Поставил баул. Потом поднялся на цыпочки, попытался среди смутно различимых силуэтов людей на берегу увидеть Хусаина. Узнал-таки его долговязую фигуру, размахивающую солдатской фуражкой.

– Исха-ак! – кричал Хусаин. – Ну как, место занял?

– Занял, ничего!.. В тесноте да не в обиде! Прощай, Хусаин! Увидимся ещё!

– Прощай...

Пароход загудел раз, другой и поплыл к Казани.

У Исхака вдруг тоскливо сжалось сердце. Зачем он уехал из деревни? Жил бы себе да жил...

На корму между тем всё прибывали люди, уже яблоку негде было упасть. Пришли и студенты, повтискивались между чужими метками и чемоданами, с шуточками устраивались на ночлег. Однорукий Мунир Тазюков тоже было появился на корме, но вскоре ушёл: отхватил место в каюте второго класса. Появился спустя некоторое время на верхней палубе, был он теперь в свежей рубашке с отложным воротничком, это шло его загорелому лицу и крепкой смуглой шее. Студенты снизу закричали что-то насмешливое по-татарски, Тазюков, пожав пле-

чами, тут же отошёл от борта. Он спустился в ресторан, подсел к столику, где ужинали две красивые девушки с густо накрашенными ресницами. Скоро у них завязался весёлый разговор, Тазюков заказал вино...

А по корме гулял холодный ветер, свернувшийся комочком Исхак никак не мог согреться. Сосед-старик укрыл ему ноги своим бешметом, женщина рядом заснула, привалившись спиной к Исхаку, он согрелся, его сморил сон...

## 9

Увы, приехав в Казань, Исхак очень скоро убедился, что Мунир Тазюков говорил вещи, близкие к истине. Стипендия маленькая, того, что выдают на «служащие» карточки, которые получают студенты, хватает разве что на несколько дней приличного питания, а там – остаётся по хлебной карточке шестьсот граммов хлеба ежедневно – и всё, хотя в возрасте Исхака за один присест можно умять большую буханку...

Много среди соседей Исхака таких, кто просто не попал в другие вузы и подал документы в «сельхоз», чтобы не терять год. Есть тут, правда, и бывшие фронтовики, они донашивают гимнастёрки и шинели, полны жажды знаний. Держатся фронтовики особняком, с малышнёй вроде Исхака не якшаются, после лекций идут в библиотеку и сидят там до темноты. Им чаще, чем остальным, выдают талоны на дополнительное питание, вообще им, несомненно, легче, чем таким, как Исхак, – сказывается военный опыт, умение удобно располагаться в трудной обстановке. Вскоре после начала занятий бывшие фронтовики сумели отвоевать себе в общезитии комнаты поменьше, а в больших осталась разная малышня.

С уходом старших дисциплина и вовсе разладилась. До поздней ночи разговоры, похвальба о девушках, азартные карточные игры. Исхак всего этого не любил, многое ему, скромному деревенскому парню, казалось диким. Казалось, что он не в силах выдержать такую жизнь, что надо уезжать домой, в деревню. Удерживали его от этого только письма матери. Нужно было оправдать её надежды.

Чтобы научиться разбирать письма Махибэдэр, Исхак выучил арабский шрифт. Учил тайком, потому что хорошо помнил, как в пятом классе его высмеяла их классный руководитель, разноглазая Мардия-апа. Узнав от матери, как пишется по-арабски его имя, он начал писать на заборах и классной доске арабским шрифтом «Исхак». Мардия-апа высмеяла его при ребятах, мол, он, как мулла, учит «божественные» буквы, потащила мальчика к директору, там его тоже обругали за то, что учит буквы Корана... Поэтому Исхак и в Казани сначала пытался заниматься самостоятельно, вспоминая то, чему учила его мать, однако вскоре узнал, что при университете на татарском отделении обучают арабскому языку. Знакомые Исхака, окончившие, как и он, школу в деревне Мэлле, дали ему арабский шрифт, пригласили приходить в литературный кружок: многие из них помнили, что Исхак в школе баловался стихами.

Придя на занятия кружка в первый раз, Исхак растерялся. Сдав на вешалку старый лицеванный солдатский бушлат, который мать выменяла на мешок картошки у проезжего солдата, он остался в латаном-перелатаном кургузом пиджаке. У них в институте его одеяние мало чем отличалось от одежды других студентов, да и в тесных полутёмных коридорах и аудиториях не слишком бросалось в глаза, кто как одет. Здесь были высокие потолки с яркими люстрами, натёртые сверкающие полы, толпы хорошо одетых иностранных студентов, нарядные девушки на высоких каблуках, в пышных меховых шапках. Только увидев знакомых из Мэлле, одетых приблизительно так же, как и он, Исхак почувствовал себя увереннее, затерялся среди них.

В аудитории, где должно было проходить занятие литкружка, какой-то кудрявый черноусый парень в красивом, полуспортивного покроя костюме играл на пианино чардаш.

– Это мадьяр, – шепнул Исхаку его знакомый парень. – Учится на историческом факультете.

Появилось ещё четверо венгерских студентов, подошли к тому, который играл на пианино, о чём-то громко поговорили, громко посмеялись. Исхак удивлённо следил, как уверенно, по-хозяйски они держатся, громко, не стесняясь, разговаривают и хохочут. Довольно свободно они говорили и по-русски, знакомый Исхака сказал, что венгры знают по несколько европейских языков.

Вскоре народ собрался, невысокий длинноволосый студент в клетчатом пиджаке сказал, что очередное заседание считается открытым, и предоставил слово поэту, члену Союза писателей. Исхак воззрился во все глаза: первый раз в жизни он видел живого поэта! Надо сказать, на улице он вряд ли отличил бы его от прохожих, Исхаку всегда казалось, что в лице поэта, хотя бы в его глазах, обязательно должно быть «что-то такое».

Поэт был среднего роста, рыжий, с бурым лицом человека, любящего «заложить за воротник». Свою поэму «О счастье» он читал громко, грубым голосом, словно на кого-то сердясь, нелепо размахивая правой рукой. Сначала Исхак просто следил за ним с изумлением, потом вслушался в текст и изумился ещё больше. «Наверное, этот громкоголосый дядя в деревне никогда не бывал», – подумал Исхак. В поэме у деревенских парней – рты до ушей, им сытно и легко живётся, с утра до вечера они наяривают на гармошках, даже в поле, за работой, весело и дружно поют.

Односельчане Исхака никогда на работу с гармошкой не ходили, особенно теперь. На голодный желудок не станешь плясать и петь...

Но Исхак, конечно, не решился спорить с автором, он просто сидел, глядя на своих соседей, среди которых были и его соученики по школе в Мэлле, – все они горячо хлопали, когда поэт кончил. Потом читали стихи члены кружка, в их стихах жизнь тоже была сытной, прекрасной, «лучшей в мире»... Исхак слушал, грустно думая о том, что, видно, он и правда «деревенщина», «серая скотинка», не дорос до понимания такой «высокой» поэзии. Видно, в стихах нужно изображать жизнь красивой, весёлой, совсем не похожей на ту, какая у них в Куктау. А может, так плохо живут только в Куктау, потому что там председателем Салих Гильми?...

Вышел он из университета растревоженный. Стихи о необыкновенно красивой жизни... Потом венгры, так же просто, как их рябой Василь на трёхрядке, игравшие на пианино... Ведь и в Венгрии была война, фашисты. Когда же эти парни успели выучить европейские языки, когда они учились музыке?... Его мать, сёстры, работая дни и ночи, не смогли из-за войны купить Исхаку даже простую тальянку, о которой он так мечтал... Есть, значит, у судьбы любимые и нелюбимые дети...

Вот он кончит учиться, получит диплом. Диплом!.. Получит и снова уедет в Куктау, где нет ни радио, ни электричества. Будет до крови под ногтями воевать с чертополохом... Вырастит хлеб. Свезёт его в Челны. Снова посеет. Снова уберёт. И полуграмотный Салих Гильми будет указывать ему, что и как делать, грозить, оскорблять...

А где-то останется большой город, театры, музыка, электричество, квартиры с удобствами. Не только сам Исхак, но и дети его будут учиться в той же школе в Мэлле с низким потолком, где сквозь щели в бревенчатых стенах дует ветер...

Исхак остановился. Нет!.. Нельзя заноситься перед родной землёй, презирать её, изменять ей словом или душой. Нельзя грешить на неё. Кто был его дед, отец?... Безграмотные тёмные крестьяне. Он, Исхак, хоть и полураздет, не всегда сыт, но учится. Учится в большом прекрасном городе, получит диплом, станет специалистом, вернётся в Куктау, чтобы и там жизнь постепенно изменилась, стала легче, сытнее, ближе к тому, что он видит сейчас в городе. Дети Исхака, безусловно, будут жить иначе, чем он, а дети его детей будут жить прекрасно...

После этого «выхода в свет» Исхак не посещал больше занятий литкружка – уж больно чужим, из «другого мира» он почувствовал себя там. Не ходил он также с соседями по обществу на танцы, на гулянья в парк, жил тихо, сам по себе. Учился упорно, ездил летом в деревню, время шло.

Но одна из вёсен неожиданно внесла в его жизнь некоторую перемену.

Наступили жаркие дни, вода в Волге стала достаточно тёплой, и Исхак не удержался от соблазна, сдав очередной зачёт, махнуть с сокурсниками на Волгу. Надо сказать, что то позорное купанье в детстве не прошло для парня даром. Он тайком от сверстников стал ходить на запруду, и скоро уже плавал лучше всех в деревне. Случалось ему купаться и в Волге, бороться

с её сильным течением, поэтому, когда кто-то из ребят предложил поехать на Волгу, на остров Маркиз, Исхак не устоял перед соблазном.

Сначала они гурьбой ходили по пляжу и глядели на загорающих красивых девушек. Потом нашли место посвободней, разделись и стали купаться. Уродливая одежда Исхака портила его фигуру, а когда он, сбросив всё, остался в трусах, на его широкие плечи, сильные руки и длинные сильные ноги загляделись завистливо даже друзья.

– Тебе, Исхак, на бокс бы ходить, в секцию... – сказал кто-то. – Ишь, нарастил какие бицепсы!

– А сколько потом буханок хлеба есть? – засмеялся Исхак.

Неподалёку группа девушек играла в волейбол, они, вероятно, тоже заметили Исхака, потому что мяч уж слишком часто стал падать возле парней. Те приняли этот вызов и начали, пересмеиваясь с девушками, гонять мяч. Исхак в этой игре участия не принял, лёг на песок, подставив солнцу сильные лопатки, любовался Волгой. Потом ему стало жарко, и он залез в воду, саженками быстро поплыл, перебарывая течение, на другой берег. Две девушки из игравших в мяч тоже решили искупаться, одна, доплыв до середины, повернула назад, другая продолжала плыть. Исхак не стал выходить на берег, повернул назад. Девушка окликнула его:

– Я устала, подстрахуйте меня, пожалуйста.

Исхак подплыл ближе, девушка взялась за его плечо и они поплыли рядом. Течение было сильным, их снесло гораздо ниже того места, где они входили.

Вылезли на берег, девушка сняла купальную шапочку, тряхнула головой – волосы у неё были пышные и блестящие, глаза голубые с поволокой. Длинноногая, тонкая в талии, с высокой грудью – Исхак отвёл глаза от её обнажённых плеч, уже успевших красиво загореть.

– Спасибо, – сказала девушка, доверчиво глянув на Исхака снизу вверх. – Без вас мне бы плохо пришлось, до сих пор отдышаться не могу.

Исхак улыбнулся смущённо.

– Да что там... Не рискуйте больше, ладно?

Пошли по песку к товарищам.

– Вы часто здесь бываете? – спросила девушка, опять как-то наивно взглянув на Исхака снизу.

– Да нет, редко такая счастливая минута выпадает.

– Почему? – девушка удивлённо подняла брови. – Здесь прекрасное купанье! Я даже зимой в бассейн хожу.

– Летом я не бываю в Казани, в деревню уезжаю. А зимой – когда? В библиотеке сижу, времени ни на что не хватает.

– А где вы учитесь?

«Ну вот, – подумал Исхак, вспомнив вдруг Мунира Тазюкова. – Обязательно надо поинтересоваться!»

– В авиационном институте... – соврал он вдруг.

– Хороший институт, – девушка посмотрела на Исхака с уважением. – Для ребят просто прекрасный! А я в медицинском учусь.

– На каком курсе?

– На третьем.

– И я ведь на третьем!

– Здорово! Какое совпадение! – девушка звонко засмеялась. Её голос, низкий, чуть глуховатый, вдруг напомнил Исхаку Санию, сердце у него больно стукнуло. – А почему вы одни приехали, без девушек? – продолжала спрашивать его спутница. – Хотя в ваш институт девушек мало берут.

Исхак молча кивнул.

Они дошли до того места, где раздевались. Товарищи Исхака возились в воде, девушки продолжали играть в мяч.

– Пойдёмте, я вас с нашими девчатами познакомлю, – позвала его спутница.

Исхак вспыхнул.

– Спасибо... – сказал он с затруднением.

Девушка, почувствовав, что он стесняется, не стала настаивать.

– Хорошо, не надо, – она мягко улыбнулась. – Но вы подождёте меня? Вместе поедем?

Она убежала к подругам, Исхак вернулся на своё место, лёг. Товарищи, выбравшись из воды, плюхнулись на песок, окружив Исхака, стали подтрунивать над ним.

– Тихий-тихий, а какую красотку отхватил!

– Слушай, зацепись давай прочно, не упusti жар-птицу, глядишь, и мы по твоей проторенной дорожке туда потопаем, подружек её отхватим!..

Домой он ехал вместе с Лейлой.

Надо сказать, что вообще-то за три года житья в большом городе Исхак стал уже не тем диким деревенским парнем, который когда-то вошёл в двери общежития сельхозинститута с деревянным баульчиком в руках. Случалось ему за эти годы – правда, не часто – и в кино ходить со своими сокурсницами, и в садах казанских гулять, но то были просто дружеские отношения людей, связанных одними интересами. А вот так, среди бела дня, с красивой незнакомой девушкой, которая к тому же нравилась ему, Исхак ехал впервые.

Злясь на себя и от этого становясь ещё более неловким, Исхак чувствовал, как словно бы глупеет, не может связать пяти слов, даже движения делаются неуклюжими и трудными, как во сне. Он раза два наступил Лейле на ногу, она шуточно побранила его, после чего Исхак совсем язык проглотил от неловкости и смущения.

Но Лейла словно бы ничего не замечала. Наивно и доверчиво поглядывая на парня снизу вверх, она рассказывала ему про то, как привыкла к анатомичке, и про новые течения в грудной хирургии, рассказывала про последние фильмы, которые Исхак ещё не видел. Слушать её было интересно. И потом, она была красива... Исхак даже глядеть на неё боялся, так удивительно соразмерно было это белокожее большеглазое личико с бархатными широкими бровями и чёрной, словно приклеенной, крошечной родинкой под нижней румяной губой. Исхак сам себе не верил: впервые после долгих лет ему нравилась – и сильно – девушка! Видно, права была мать, которая каждый его приезд в деревню долбила, что мёртвых не вернёшь, надо жить, что Аллах завещал людям: «Плодитесь и размножайтесь...»

Долгим показался Исхаку этот путь до улицы Маяковского, где находилось общежитие медицинского института. Лейла сама заговорила о новой встрече – получилось у неё естественно, ненавязчиво. Исхак ещё не видел трофейного «Тарзана», и Лейла сказала, что с удовольствием посмотрит картину второй раз: хоть фильм и пустой, но весёлый, к тому же актёр очень ловко прыгает по деревьям...

Так и пошло. Сходили в кино, потом долго гуляли по ночным тихим улицам Казани, разговаривали. Им было интересно вместе. Лейла расспрашивала Исхака об институте, он переводил разговор вообще на авиацию, на перспективы её развития, особенно на возможность серьёзной помощи авиации сельскому хозяйству в борьбе с вредителями. Болтали, пели... Встречи стали частыми, это заметили товарищи по институту.

Скромный, нелюдимый Исхак – и вдруг встречается с красивой медичкой! Это стало темой разговора в курилке.

Началась практика, студенты перебрались за город, но Исхак ездил почти каждый вечер с опытного учебного участка в Казань.

Сокурсники начали донимать Исхака просьбами познакомить их с Лейлой и её подружками: в медицинском учатся самые красивые девчата! Но Исхак не спешил. Увы, он не был уверен в себе: ложь стояла между ним и Лейлой... Это мучило его. Каждый раз, идя на сви-

дание, он давал себе слово сказать Лейле правду, а там будь что будет – и каждый раз не хватало духу. К тому же он знал теперь, что Лейла – единственная дочь в обеспеченной семье. Конечно, он ей не пара...

Однажды Лейла позвала его на танцы к себе в общежитие. Исхак долго отнекивался, не называя истинной причины: ни хороших ботинок, ни костюма. Но Лейла сумела-таки уговорить его. Исхак сдался, обещая прийти.

Одевали его всей комнатой.

– Ты хоть козлиную тропку туда протопчи, – шутили товарищи, отдавая кто галстук, кто целую рубаху, кто приличные туфли.

– Мы следом потянемся...

В проходной общежития его остановили привратницы. Одна из них, толстая, в очках, долго разглядывала его студенческий, потом спросила недоверчиво:

– Так к кому ты идёшь?

– В двадцать вторую комнату.

– Там же девушки живут! – удивилась вторая привратница. – К кому?

– К Лейле Батыршиной, – неуверенно сказал Исхак, вдруг густо покраснев.

Толстая привратница ещё раз повертела его студенческий, недовольно покачала головой, отдала. Вторая громко произнесла, когда Исхак начал подниматься по лестнице.

– И этот туда же ползёт, вошь деревенская!

– К нам из сельхоза вроде ещё никто не ходил, – поддержала её вторая.

От расстройства Исхак даже забыл постучаться, распахнул дверь, вошёл – раздался визг, какая-то девушка в комбинации бросилась за шкаф, другая в кофте без юбки присела за койку. Лейла оглянулась от зеркала, рассмеялась, подбежала к Исхаку и, взяв его за руку, вывела в коридор.

– Что с тобой? Ты как не в себе, бледный? – спросила она, усаживаясь на подоконник. – Экзамен сдал?

– Сдал. Прости... – Исхак с трудом глотнул, собираясь с силами. – Глупо вышло, Лейла, прости.

– Что с тобой? Что-то случилось?... – Лейла смотрела на него ласково и тревожно, как бы нечаянно держа горячей ладонью за локоть. Исхак чувствовал её тепло, оттаивал понемногу, сердце начало взволнованно колотиться.

– Давай не пойдём на танцы? Прошу... Поговорить надо.

– Мне так хочется, Исхак... – Лейла просяще улыбнулась. – Собрались ведь в кои-то веки раз. Да и девчата тебя ждут, я сказала.

– Пойдём пройдемся, там видно будет.

Они вышли на улицу, пройдя мимо презрительно зашипевших им вслед привратниц, растерянно остановились: суббота, везде народу полно, где поговорить? Наконец отыскали неподалёку в сквере пустую скамейку со сломанной ножкой, сели.

– Что случилось, Исхак?

– Прости, я тебе сказал неправду тогда, на пляже. Я не могу больше... Понимаешь, я учусь не в авиационном, а в сельхозе...

Выпалив это, Исхак почувствовал, как тяжко отлила у него кровь от сердца: всё кончено... По лицу Лейлы прошла какая-то тень, потом она рассмеялась.

– И это всё?

– Всё...

– Господи, разве можно так пугать людей! Преступник... – Она поднялась. – Побежали на танцы!

На танцах от радости Исхак не помнил себя. Кружил в вальсе Лейлу, приглашал её подруг – откуда что взялось, ни разу никому на ноги не наступил. Спасибо Сание, когда-то в шутку учила она дружка танцевать под звуки далёкой тальянки рябого Василя...

Правда, представить подругам Исхака Лейла почему-то забыла.

Они договорились встретиться через три дня. Исхак приехал в Казань с опытного хозяйства, и они с Лейлой до зари прогуляли в цветущих садах... Исхак был счастлив и благодарен Лейле, что она оказалась выше глупых предрассудков. У него даже рука дрожала от счастья, когда он держал девушку за кончики пальцев. Расставаясь, Исхак сам попросил о свидании. Через два дня! Большой срок, ему казалось, врозь прожить будет невозможно. Лейла согласилась, ласково глядя на него снизу влажными от нежности глазами. Все эти два дня перед взглядом Исхака стояло это лицо, эти глаза...

Однако в назначенный вечер девушка не пришла на их хромоногую скамеечку. Исхак, прождав час, позвонил в общежитие. Там сказали, что Лейла ушла ещё днём и не возвращается. Не зная, что делать, тоскуя и беспокоясь, Исхак побрёл на улицу Маяковского, к общежитию. Не решаясь зайти, топтался у подъезда. К обочине тротуара подкатила «Победа», из неё вышли Лейла и какой-то грузный пожилой мужчина. Увидев Исхака, Лейла подбежала к нему.

– Прости, Исхак, папа приехал. Я не могла прийти, он уезжает завтра.

Исхак молчал, не находя, что сказать. Значит, сегодня они не увидятся? А он так ждал этого свидания...

– Ты не сердись, я не стану тебя с папой знакомить. – Лейла скользнула взглядом по его немудрящему одеянию и улыбнулась, словно извиняясь.

Исхак повернулся и быстро пошёл прочь. Придя в общежитие, лёг на койку, закрыв лицо локтем. Никого не хотелось видеть, мир рухнул. Дурак он. Конечно, дурак... Шаркуны ей нужны в модных ботинках, а не бедный студент из глухой деревни.

– Эй, – окликнул его кто-то. – Исхак, тебе из дому письмо.

Исхак взял письмо, сел, полуотвернувшись от товарищей, чтобы они не глазели на его расстроенное лицо, распечатал письмо и стал, не видя, водить глазами по строчкам, накарябанным неверной рукой матери. Всё как обычно: приветы, новости о сёстрах, деревенские новости – газета деревни Куктау... Какое это может сейчас иметь для него значение?... Вдруг глаза его зацепились за какую-то строчку, и сердце, вздрогнув, заняло: Хусаин женился!..

«...Муратшин Хусаин вчера привёз невесту Фариху, дочь Фазиля. На свадьбу не затруднил себя приглашением, хоть и сватами приходится... Но таких одиноких сов много... Ладно, пусть им простит Аллах!..»

Дочитав письмо до конца, Исхак снова лёг на койку, сделал вид, что спит.

Ещё час назад, уходя от Лейлы, Исхак вспомнил Хусаина: прости, Хусаин, прости, Сания! Он хотел изменить им – и вот наказан. Справедливо наказан: памяти мёртвых изменять нельзя... Так он думал, вспомнил грустное лицо Хусаина, когда тот на горе над Камой говорил: я любил эту девушку... И было Исхаку почему-то легче от этих покаянных мыслей.

Но, оказывается, Хусаин женился, взял за себя рыжую толстушку Фариху, говорит ей те слова, что берёт для Сании. Выходит, Исхак остался один.

Ну что ж... Он будет верен памяти Сании. История с Лейлой послужит ему хорошим уроком.

Вскоре пришло письмо и от Хусаина. Тот тоже сообщал, что женился, писал, словно оправдываясь, что мать очень старая, нужна помощница в доме. И ещё, что ему очень хочется иметь детей...

Кончились экзамены и практика, Исхак, как всегда, уехал в Куктау: дома и стены лечат!.. Ещё на пароходе он предвкушал, как, приехав, вечером же натопит баню, попарится всласть. За долгие месяцы учёбы парень соскучивался по деревенской бане: в городе и вода жёстче, и пар не тот, и веники не душисты. Натопит баню, чтобы камни накалились докрасна, натаскает море

воды во все тазы и бочки, возьмёт два веника в чулане... Когда Исхак парился в бане, никто не мог выдержать – камни и те трескались от жара, подпрыгивали к закопчённому потолку, пар сладко обжигал разомлевшее, расслабившее мускулы тело.

И вот наконец сбылось: сладкий дух ожившей в этом желанном аду берёзы течёт за приоткрытую дверь. Исхак, постанывая и подпрыгивая на обжигающих пятки досках полка, хлещет до изнеможения себя вениками. Уходит усталость и напряжение, уходит сердечная боль и чувство униженности.

В конце-то концов на чём эти большие города стоят? На земле... И самолёты с земли взлетают. И лётчик, не поев хлеба, вряд ли сможет держать штурвал. Вот так-то, дорогая Лейла!..

После бани Исхак блаженно потел, положив, как, бывало, отец, сухое полотенце на шею, чтобы пот не тёк по спине, выпил целый самовар чая. Сегодня – отдых, а утром его ждёт работа. Дел хватает: он один на два дома. Надо и кизяков засушить на топливо, и торфу привезти, и травы тайком (рано утром и поздно вечером) накосить по обочинам дорог. Всё это надо сделать сейчас, летом: зимой, как говорится, съел бы грибок, да снег глубок... Ну а потом картошку надо окучивать, сараи и плетни подлатать, дыры замазать, завалинки подсыпать. Работы хватает!..

После чая Исхак отправился к Нурулле. Тот сидел на завалинке, опёршись обеими руками на палку. Увидев Исхака в воротах, радостно зашумел:

– Ого, мать, радость! Студент приехал! Давай подвешивай казан над огнём, начинай суп варить, известно, как густа студенческая похлёбка!..

– Да я сыт, я же из дому! – стал отнекиваться Исхак, но Нурулла заташил его в дом, усадил в передний угол и, пока Хаерлебанат готовила угощение, принялся как всегда, за расспросы.

– Ну, милоч, какие хорошие новости привёз? Всё вперёд и вперёд идём, даже оглянуться назад некогда?... А деревня тем временем вовсе в упадок пришла, землю чертополох да кустарники истошили... Где техника обещанная, трактора где?

Исхак смущённо улыбался, пожимая плечами: те же самые вопросы он мог бы задать кому-то, только кому их задашь?

– На Украину, я читал, отправили два эшелона тракторов. Им ведь ещё хуже, чем нам, – ответил он.

Нурулла кивнул головой, взгляд его одинокого, горящего, точно уголь, глаза смягчился.

– Да, сынок... Верно, им хуже. Немец проклятый там многие деревни вообще с землёй сровнял. Но только надо, чтобы трактора и до нас когда-то дошли... Нельзя крестьянину терять надежду!..

Исхак и сам понимал, что нельзя, что чертополох всё нахальнее обступает деревню, кустарники тоже поползли на поля, – но что мог он сделать?

Кончилось лето, и вновь наступила зима. Четвёртый курс тоже шёл к концу. Исхак злобно вспомнил Мунира Тазюкова: не сбежал Исхак из института ни на первом, ни на втором курсе, скоро кончит, получит диплом, уедет в деревню – помогать измученной земле... Интересно всё же, где сейчас процветает давно окончивший свою юршколу Мунир Тазюков? На каких дорогах отражают солнце его форменные пуговицы, где гуляли те гуси, чьи лапки так сладки?...

Ещё не сошёл снег, Исхак получил от матери встревожившее его письмо. Махибэдэр писала, что очень сильно стала у неё поясница болеть, так, что даже в глазах темнеет. Как-то брала она воду из родника, упала, еле после до дому добралась. С тех пор почти с постели не встаёт, хворает.

Мать прямо не просила «приезжай», но Исхак обеспокоился, и, когда полетел в Челны первый самолёт, он отправился домой.

К счастью, мать оказалась не так тяжело больна, как он опасался. Действительно, прихвывала, годы не молодые, но, главное, тоска, тревога её брала. Приезд сына поднял её на ноги.

– Муратшина Хусаина председателем поставили! – выпалила она торжествующе, едва успев обменяться с Исхаком первыми приветствиями и вопросами о здоровье.

У Исхака даже чемодан из рук выпал. Вот оно, оказывается! И в деревне жизнь не стоит на месте, свежим ветерком и тут потянуло... Ишь, скромник Хусаин! В своём последнем письме к Исхаку он и не обмолвился об этом!

Нурулла тоже встретил его с улыбкой до ушей.

– Слыхал? Сковырнули того подлеца!

Хаерлебанат сокрушённо покачала головой:

– Горе с ним. На каждом перекрёстке вот так болтает... Зачем открыто говорить? Ушёл, значит, время подошло!..

Нурулла стукнул кулаком по столу.

– Время подошло... Сами время приблизили!.. Как представитель из района защищал Салиха? Опытный, мол, кадр, много лет работал, сельское хозяйство хорошо знает! Я слово попросил – не дали! Прихвостни Салиха орут, мол, твоё дело готовый хлеб в навоз переводить! Молчи, мол, калека убогий... Тогда я твою тётку домой послал за орденом, нацепил Красную Звезду! «Имеете право красному партизану слово не дать?» Дали... Гильми орёт, мол, ты купил Красную Звезду, пьянчужка! Ну а я говорить стал. Все его художества перед народом раскрыл, как он колхоз доит себе на пользу, как перед начальством выслуживается, а на рядового колхозника плевать хотел. Подпевалы Салиха орут, сам он в колокольчик звонит, а я за своё... Расшевелил народ, Красная Звезда моя, спасибо ей, помогла!

– После три дня говорить не мог, охрип... – усмехнулась грустно Хаерлебанат. – Герой...

Поздно вечером к Исхаку зашёл Хусаин, поздоровался, спросил про городские новости, потом присел на сакэ.

– Дороги не очень плохие?

– Пешком пройдёшь. Если семена везти хочешь, неделю обождать придётся.

– Обождём... – Хусаин поскрёб чёрную густую щетину на подбородке. – Ведь это я тебя сюда вызвал. Болезнь матери – просто повод.

– Сам об этом написать не мог?

– Да не мастак я на бумаге уговаривать. – Хусаин нахмурился. – Вон бумаги – снопами в правлении лежат, шею переели! Поговорить, обсудить дело надо, глаза в глаза поглядеть!..

– Ну что ж... – Исхак пожал плечами. – Проходи, чай пить будем. Поговорим. Я не против разговора.

Махибэдэр поставила на стол шумящий самовар, стала у двери, спрятав руки под фартук. Хусаин сел к столу, взял протянутый ему стакан свекольного чая.

– Ты писал: этой весной на преддипломную практику едешь. Агрономом? Приезжай к нам! Сам знаешь, ни агронома, ни черта у нас нет. А нужно бы. Хозяйство поднимать нужно.

Исхак опустил глаза, отвёл их от настойчивого, умоляющего взгляда матери.

– Боюсь я... Сам знаешь, Хусаин, посылают студентов к опытному агроному. Самостоятельной работы, ответственности не доверяют... Рано ещё...

– Ну а мы-то вовсе ничего не знаем. Дедовский опыт... В МТС главный агроном есть, да он не разорвётся на все колхозы!.. Ну если трусишь, то, конечно...

– Зря ты горячишься... – Исхаку стало стыдно: действительно трусит, боится так вот сразу взвалить на себя ответственность за живое дело, живых людей. А Хусаину какво?

– Загорячишься! Неделю стоя сплю! Сеять скоро надо, а в амбарах мышь и та зерна не найдёт. Хоть плачь, хоть что...

– Вместе плакать, что ли, понадобился?

– Семена найти – моя забота! Из земли ногтями выкопаю! Ты почву понять попытайся. Разберись, что делать надо, чтобы народ, наконец, с хлебом был.

Исхак молчал, размышляя.

– Если надо, запрос в институт пошлём. Какие хочешь печати на бумаге сделаем.

– Согласен, – сказал Исхак.

Уже с более весёлым сердцем, как бы связанные общностью будущего серьёзного дела, они стали пить свекольный чай без сахара, есть печёную картошку без хлеба. Говорили, говорили, прикидывали, что нужно делать, что доставать, как сеять, чем удобрять истощённую чертополохом, горькую их, родную землю...

Вернувшись в Казань, Исхак сразу пошёл к декану.

– Почему вы решили ехать именно в эту деревню? – спросил декан, выслушав Исхака. – Вы распределены в другой район.

– Это моя родная деревня... – Исхак покраснел. – Потом, там поля очень запущены, урожаи мизерные. Хочется наладить как-то...

– С этого бы и начал, – декан усмехнулся. – Это хорошо, что вы жаждете трудностей... Пока молоды – что ж... Пусть запрос пришлют.

Исхак достал из кармана бумагу с печатями.

К майским праздникам Исхак уже был дома. До правления колхоза его довёз главный агроном МТС; уезжая, ещё раз напомнил Исхаку:

– Хочешь успешно работать, ориентируйся на ветер, что из района дует. Всё оттуда придёт – и ветер, и тучи, и дождь с молнией! Так что держись и ушами не хлопай... Я знаю: молодой, хочешь поломать укоренившиеся обычаи. Оставь эти пустые мечты, понял?

Исхак решил свести разговор на шутку:

– Хорошо, а как быть с обычным дождём и градом?

– А это уж в руках Божьих, ни от тебя, ни от меня не зависит. – Агроном погрозил ему пальцем.

Много вопросов хотелось Исхаку задать главному агроному: всё же лет десять тот работает в их краях, но после такого разговора желание пропало.

Он начал работать. Теперь луга и поля, которые всю жизнь были для него просто Овечий загон, Огурцова гора или кустарник Ахми, разделились на квадраты и гектары, превратились в сенокосные луга, засоленные пустоши, болота. С утра до вечера они мудрили с Хусаином, что предпринять с этим кусочком, что делать с тем...

Увы, то, что он проходил в институте, пока никак не годилось ему. Нигде в плане не обозначено, какая почва на том или ином поле, нет расчёта севооборотов, навоз со скотных дворов возили зимой не на те поля, где он нужнее всего, а сваливали, где поближе. И то верно, далеко ли увезёт его на маленьких саночках выбивающаяся из сил, голодная кляча!..

Все беды и заботы, все нужды земли навалились на Исхака с Хусаином. Из МТС категорически сообщили, чтобы трактора на долгий срок они не ждали. Если и дадут, то не больше чем на два-три дня. Так что надо максимально использовать лошадей, даже крупный рогатый скот. И – лопаты...

Нурулла теперь с утра до ночи торчал в правлении, вместе с парнями мозговал, прикидывал, подбадривал их. Старайтесь, мол, джигиты, не жалейте себя. Земля, народ сторицей вам оплатят за это...

И джигиты старались.

Исхак чем свет бежал в поля. Хусаин висел на телефоне, торчал в МТС, надоедал в райкоме. Семена нужны, запчасти нужны, деньги нужны, помощь нужна... Себя, своих трудов нам не жаль, пожалейте людей, пожалейте землю!..

Однажды Хусаин пришёл к Исхаку поздно ночью радостный: выбил трактор!.. На следующий день, едва трактор прибыл, для тракториста истопили баню, зарезали барана, отвели квартиру в самом чистом доме. Пусть только работает, трудов не жалеет!..

Все, кто был в силах, вышли на заброшенные земли воевать с чертополохом. Трудились даже старики и дети. В ход пошли косы, лопаты, грабли, мотыги, заострённые палки...

Три дня и три ночи шла битва. Трактор, шесть лошадей и люди, люди, люди... Копали, выдёргивали, боронили, пахали. Полоса за полосой уступал чертополох завоёванное. Сухие будылья жгли прямо тут, на полях, – к самому небу взмётывались вечерами языки пламени.

– Что у вас горит? – звонили пожарники из деревень, расположенных в тридцати километрах от Куктау.

– Нужда горит, – отвечал Хусаин. – Горе горит...

Когда начали сеять, в поле прискакал на своей деревяшке Нурулла. На шее у него висело лукошко, в нём семена и десяток крашенных яиц. Как когда-то аксакалы, вышел на борозду, стал разбрасывать зерно, приговаривая:

– Расти, хлебушко, густой, как стена! Чтобы жать тебя без усталы, вязать, не разгибая спины! Пусть придут сытные времена, чтобы суп был густой у крестьянина, бульон жирный... Чтобы песок не занёс, ветер не выхлестал, чтобы дождь вовремя шёл и солнце, когда надо, светило! Пусть дурной глаз не возьмёт! В добрый час!..

– Трогай, Минлебай-ага!

– Дава-ай!

– Пошли!

Трактор распахан поля по обе стороны дороги, ведущей в райцентр, сеяли, как сказал Исхак, поперёк борозд, по правилам агротехники. Старики, качая головами, следили за сеятелями, приговаривая:

– Земля отдохнувшая, пусть хорошо уродится.

– Семена мелковаты, но зерно полное, крупное...

Старухи, видя, как тают, превращаясь в дым и пепел, заросли чертополоха, плакали, падая на землю:

– Господи, ты судил нам дожить до этих дней, увидеть своими глазами!..

В ночь на двадцать восьмое мая над Куктау собрались тучи, упали на землю первые, после окончания сева, капли дождя. Хусаин и Исхак возились на колхозном огороде, тут, не стерпев, пошли в поля. По дороге меж полей шёл простоволосый, в одной нижней рубаше Нурулла. Подставив редким каплям дождя единственную ладонь, он мочил прилипшие ко лбу волосы, постанывал от удовольствия. Увидев друзей, он замахал рукой, заскакал им навстречу.

– Мёд с неба течёт, ребятки... Сытость, жизнь, благополучие... Даже по заказу лучше не угадаешь! Пойдёт теперь в рост пшеничка, пойдёт... И людям Куктау иногда дуб с желудями выпадает...

Тучи набухли, словно бы опустились ниже, дождь хлынул косо и сильный.

– Пойдёмте к нам от дождя! – позвал Нурулла.

Мужчины, зайдя под навес, выкурили по самокрутке, потом, когда и навес протёк, побежали в правление.

Дождь лил всю ночь. Под утро Нурулла снова вышел в поле. На глинистой земле образовались лужи, по бороздам спешили бурлящие коричневые ручьи. А дождь и не думал переставать. Нурулла вернулся обеспокоенный.

– Лишнего льёт, мать... Как бы плохо не вышло.

Дождь прекратился к утру, засияло солнце. Три дня подряд немилосердно пекло солнце, три дня ходил над полями суховей. Поля взялись ровной, как доска, коркой, пшеница не проклёвывалась.

На третий день в деревню прибыл уполномоченный из района. Войдя в правление, Исхак увидел сидевшего за столом Мунира Тазюкова. На Мунире был хороший синий костюм, лицо у него стало сытым и круглым, обозначилось и брюшко.

– Познакомьтесь, наш практикант, молодой агроном Исхак Батуллин, – представил его Хусаин. – А это товарищ Тазюков, уполномоченный.

Тазюков вроде бы не узнал Исхака – наверное, он и думать забыл о случайном попутчике. Они пожали друг другу руки, уполномоченный поинтересовался, хорошо ли идут дела.

– Плохо... – сказал Исхак. – Пшеница вот не прорастает.

– Прорастёт... – Тазюков беспечно махнул рукой. – Имейте в виду, ребята, я к вам отдохнуть приехал. Неприятностей и в районе хватает, так что учтите. Квартира хорошая?

– Куктау – не курорт! – резко вставил Исхак.

Но Тазюков, словно бы не обратил внимания на его слова, попросил председателя проводить его на квартиру: он хотел отдохнуть и умыться с дороги.

Хусаин повёл гостя на квартиру, а Исхак снова бросился в поле. На горячий, точно печка, земле кое-где пробилась осот и вьюнки. Нежных ростков пшеницы не было ещё нигде. Исхак разрыл землю над бороздой. Семена проклюнулись, но у слабых росточков не хватило силы пробить верхнюю корку. Вскоре к нему присоединился Хусаин.

– Плохо, – не вставая с корточек, сказал Исхак. – Теперь в этой корке образовались невидимые глазу мельчайшие отверстия. Влага ежесекундно испаряется прямо в небо, пропадает зря... Пшеница не прорастёт, Хусаин...

– Может, борону пустить? – спросил подошедший Нурулла.

Исхак и Хусаин поднялись с колен.

– Борона все корни пообрывает, семена наружу вывернет... – покачал головой Хусаин.

– Да нет, он прав, – возразил Исхак. – Доску эту без бороны не пробить.

– Надо с уполномоченным всё же посоветоваться... – Хусаин почесал в затылке. – Раз уж он здесь... Для порядка.

– Зря, Хусаин, – Исхак махнул рукой. – Тазюкова я знаю, хорошего совета от него ждать трудно.

Пошли к Тазюкову. Уполномоченный сам выехал в поле, слез с тарантаса, нагнулся и поцарапал землю концами пальцев, потом отряхнул руку.

– Два-три дня подождать надо, – сказал он, усмехнувшись, и пожал плечами. Глаза у него были скучными и пустыми. – Вы знаете силу растительности: когда она тянется к свету, то ломает даже асфальт. А тут земля. Вот так, председатель, с тебя бишбармак из жирного петуха.

Хусаин и Тазюков уехали в правление, Исхак до вечера бродил по полям, со злобой, стесняющей дыхание, вспоминал сытое, равнодушное лицо Тазюкова, его манеру говорить, растягивая слова. Вечером пришёл к Хусаину.

– Пропадёт пшеница, если завтра корку не разобьём. Как людям в глаза будешь глядеть, Хусаин? Или вместо себя Тазюкова поставишь отвечать?

– Ты уверен, что надо боронить? – спросил Хусаин.

– Уверен – не уверен... – В Исхаке опять вспыхнула злоба. – Что-то же надо делать, хлеб спасать. Это Тазюков может дома чай потягивать, а я места себе не найду... Уверен!

– Ну давай боронить, – согласился Хусаин, но с лица его не сходила тревога.

Чем свет собрали всех лошадей, стали боронить. Женщины и подростки с граблями и мотыгами тоже ходили по полю, крошили корку. Часов в десять к полю подъехал Тазюков.

– Чем заняты? – спросил он Хусаина спокойно.

– Вот... – Хусаин виновато потоптался. – Боронить всё же решили. Жалко хлеб. Погибнет ведь...

Вечером в правлении состоялось экстренное заседание. Выступал Тазюков.

– Вот здесь сидит главный агроном МТС и сидит подчинённый ему молодой агроном-практикант. Пусть они скажут, можно ли по-научному поле, неделю назад засеянное пшеницей, бороновать?

Поднялся главный агроном:

– Конечно, пшеницу надо было как-то спасать. Но затаскивать на засеянное только что поле тяжёлые железные бороны – безусловно безграмотно. Думаю, что Батуллин отнёсся к делу легкомысленно, а председатель не сумел или не захотел этому противостоять.

– Да что вы наперёд всех похоронили? – взорвался, не выдержав, Исхак. – Подождём всходов! Тогда они и решат, кто прав!

Ему хотелось крикнуть: если бы вы сказали мне другие слова, когда провожали в колхоз, я пришёл бы к вам за советом. Но после той шуточной вашей речи у меня не было желания всерьёз советоваться с вами...

Члены правления постановили день-два подождать, поглядеть, какие будут всходы.

На другое утро на бурой глинистой почве поля зазеленели крохотные ростки, но их было немного...

Теперь Исхак каждое утро, едва рассветало, бежал на Кырынды. Но пшеница поднималась редкая – тут островок, там островок, а между островками большие проплешины, заросшие вскоре мятой и льнянкой. Конечно, может, если не боронить, пшеница не взошла бы совсем, но, может, и взошла бы... теперь не узнаешь. Надо было подождать. Равнодушие Тазюкова оказалось безопасней его горячности. Это Исхаку было обиднее всего. Словно кто-то мудрый и всё познавший смеялся над его искренностью и жертвенным желанием подставлять плечо там, где трудно. Словно учил его, вот как надо жить: тише едешь – дальше будешь...

Исхак ходил по родной деревне, не поднимая глаз. Что сказать тем женщинам и старикам, которых он «по науке» погнал в поле с мотыгами расковыривать корку? Теперь и семян не соберёшь на Кырынды – сколько трудов и надежд похоронено там? И зачем только Хусаин уговорил его приехать в родной колхоз? Сюда прислали бы кого-то другого, более опытного и осторожного, а Исхак бы отправился на практику в иные, чужие ему края, работал бы под руководством знающего, хладнокровного человека, и не произошло бы этой тяжкой, неисправимой уже ошибки. Кусок хлеба вырвал он изо рта у стариков и детей, а они так свято, наивно верили ему...

Вот, оказывается, какую специальность дала ему жизнь в руки!.. Он мечтал стать кормильцем, великодушно одаривающим голодных, а оказался разрушающим надежды. Впервые Исхак ощутил, что такое ответственность за дело, доверенное тебе другими, и крепкие плечи его согнулись под бременем этой ответственности...

Потом было собрание, на котором присутствовал Тазюков, произнёсший обличительную речь, были выступления колхозников, не щадивших молодого агронома. Голодные были годы, слово «хлеб» сделалось почти равнозначным слову «жизнь». Один дед Хифасулла попытался заступиться за Исхака, ссылаясь на молодость и неопытность агронома, на то, что он ночей недосыпал, мечась по колхозным полям, что он хотел как лучше...

– Благими намерениями, абзый, говорят, вымощена дорога в ад, – насмешливо заметил Тазюков.

А женщины загалдели, с ненавистью глядя на Исхака, словно бы он заодно был виноват и в том, что не вернулись с войны их кормильцы – мужья и старшие сыновья, что голод, что разруха...

Хусаина тоже сняли с председателей на том собрании, обвинили, что по неопытности либо по злему умыслу он потакал молодому агроному в его неправильных действиях, не слушал советы старших товарищей...

Придя домой, Исхак молча покидал в чемодан вещи и, не слушая уговоров матери, прямо ночью пошёл в Челны. Он простился с деревней тоже навсегда. Махибэдэр осталась у ворот, глотая слёзы.

Вернувшись в Казань, Исхак отправился к декану и всё рассказал ему без утайки. Декан был человеком умным, повидавшим жизнь. Исхака он выделил из среды старшекурсников давно, отметив его трудолюбие и прямоту. Потому сказал:

– Ладно, постараемся замять дело. Конечно, не надо было вам брать на себя решение такого серьёзного вопроса, не посоветовавшись с главным агрономом, но и моя вина здесь есть. Слишком я поверил в вас... Ничего, обойдётся.

Обошлось... Но о будущей своей работе в колхозе Исхак теперь думал со страхом и нежеланием.

Как-то, придя поздно вечером из библиотеки, Исхак прилёг на койку отдохнуть. В дверь постучали. Еле разлепив веки, смеженные усталостью, Исхак крикнул, чтобы входили. Дверь распахнулась – на пороге стояла девушка. Исхак не сразу узнал Лейлу. Она стала ещё красивее, пополнела, на ней было новое красивое платье и шляпка.

– Хорошо ты гостей встречаешь, – сказала Лейла, проходя в комнату. – Спишь?

Исхак молчал, разглядывая её – красивую, довольную собой, сытую всегда... Обиды последнего времени подступили комком к горлу. Чтобы сдержаться и не наговорить девушке грубых слов, – она-то, в общем, не виновата в своей судьбе, – Исхак снова закрыл глаза.

– Сплю, – сказал он.

Лейла не уходила, очевидно, не зная, как воспринять поведение Исхака – в шутку, всерьёз.

– Зря ты меня разыскала, Лейла, – произнёс тогда Исхак. – Не ровня мы с тобой, ничего общего между нами не может быть. Прощай.

Постояв ещё минуту, девушка круто повернулась на каблуках и ушла.

Диплом Исхак защитил с отличием, и декан помог ему устроиться на работу в Министерство сельского хозяйства. Исхак сам, всеми невероятными способами, уцепился за возможность остаться в городе. У него больно и стыдно сжималось сердце, когда он вспоминал собрание и слёзы женщин, их отчаянные несправедливые слова, обращённые к нему. Конечно, не ошибается только тот, кто не работает, но Исхаку не хотелось больше ошибаться...

Надо бы совсем выдернуть корень, перетащить в город и мать – пропади пропадом их убогое хозяйство! Но Махибэдэр всё упрямылась. И вот, словно рука судьбы помогла, – пожар! Теперь-то уж старухе не за что цепляться, нечем крыть его доводы. Не было бы, как говорится, счастья, да несчастье помогло.

С тем он и пошёл на почту давать телеграмму: приезжай, мол, старая, ко мне, отдохни, доживи свой век среди современных удобств. И в последнюю минуту заколебался почему-то, телеграфировал, что приедет сам... То ли хотелось ему попрощаться с Куктау, увидеть в последний раз родные места, то ли облегчить матери часы расставания с разорённым гнездом?... Сам он не мог разобраться в своей душе, всколыхнулось там всё, взбудоражилось... Потому и из дому ушёл, не сказав каких-то решающих слов матери: рассудок его знал, что надо сказать, а сердце не знало...

Так он брёл тихими проулками по родному селу, погружённый в невесёлые трудные мысли, и вдруг вздрогнул. Шёл в одно место, да ноги принесли его в другое!..

Неделя не прошла даром: расчищены пепелища, годные полуобгорелые брёвна сложены аккуратно, головешки тоже уложены в поленницу – пригодятся на дрова. На месте дома Хифасуллы белеют свежим деревом венцы возводимого сруба.

А вот и их пепелище. Здесь после огня всё осталось, как было. Торчит посреди головешек полуразваленная печь, чернеет огромным зевом. Исхак подошёл поближе. Из-под печи выскочила кошка, замаякала, закрутилась возле ног. Исхак вздрогнул от неожиданности.

Постояв на месте сгоревшего дома, пошёл по тропке через огород к роднику, присел на замшелую крышку колодца.

Вот тут прошло его детство, юность – лучшая часть жизни... Вон на том столбе, когда ему было четыре года, отец измерив сыну рост, сделал зарубку. Годы стёрли ту зарубку, да и огонь не пощадил столба, стоит наполовину обгорелый. Вон грядки с огурцами... Пожухлые от

огня плети редко растопырились по серой от пепла земле. Вон сарай Вильдана, где они сидели в первый день войны, обсуждая новости...

Здесь прошла лучшая, самая светлая часть его жизни... Конечно, в городе у него хорошая квартира, солидное место на работе, как говорится, ложка у него в меду, а нож в масле...

И всё же... Теперь он не тот зелёный юноша, принимающий горячие решения. Много повидал, много знает. Да и времена изменились...

Исхак поднялся: хватит. Сгорело прошлое, значит, не о чем жалеть, конечно!.. Он вышел на улицу и быстро зашагал к дому Хаерлебанат. Встретившиеся ему две девушки поздоровались застенчиво:

– Здравствуйте, Исхак-абый!

Он не узнал их – чьи такие?... Значит, даже среди молодых есть, кто ещё помнит его... Значит, знают историю, связанную с ним? Да нет, конечно... Сейчас все сыты, хлеба вдоволь, кому какое дело до давних ошибок молодого агронома?!

Исхак открыл заскрипевшую, покосившуюся калитку, вошёл во двор. В окнах дома Хаерлебанат слабо светился огонёк. Он стукнул в окно. Забило сердце.

Хаерлебанат испуганным голосом переспросила два раза:

– Кто?... Кто, не пойму я?

– Исхак, Исхак я, Банат-апа.

Дверь в сени отворилась, на пороге показалась фигура высокой сторбленной старухи в длинном белом платье. Поздоровавшись за руки, они вошли в дом.

На столе горит всё та же семилинейная лампа, из тёмной кухоньки доносится запах тёплого хлеба: на деревянной кровати с опущенным пологом – две чашки, накрытые чистым полотенцем. Комната сверкает чистотой, словно старая Банат готовилась к встрече гостей. На столе стоят две миски, лежат две деревянные ложки. Ждала кого-то Банат...

Хаерлебанат, войдя в комнату, опустила на стул, Исхак остался стоять у притолоки.

– Как живёте, Банат-апа? Здоровье как?

– Хорошо, очень хорошо, – торопливо отвечала старуха. – Получила вот письмо от Нуруллы. Утомился, вроде вернуться собирается. Думала, он, бродяга, приехал... Жду вот... Ворота скрипнули – хотела навстречу побежать, а сил-то и нет. Жизнь, она стреножит...

– Значит, Нурулла-абый вернуться решил?

– Как Хусаина председателем опять поставили, хотел приехать. Он на складе там, сторожем стоит... Город Караганда. Казахи там. И татар, пишет, много... На днях сны хорошие снились: видела молодого белого коня... Оказывается, к твоему приезду. А я Нуруллу всё жду... Ты, говорят, большим начальником стал?...

Продолжая бормотать, старуха вышла на кухню, начала собирать чай. Начерпала в самовар воды из ведра медным ковшом, набросала углей, взяла несколько сухих лучинок с устья печи, запалила огонь. Языки пламени, затрепетавшие в дырах проржавевшей трубы, причудливо осветили жёлтое худое лицо старухи.

– Огонь, значит, и тебя позвал? Что ж, увезёшь теперь мать?

– Подумаем вместе... – не сразу сказал Исхак. – Не разговаривали ещё.

Старуха быстро взглянула на него, обтёрла губы ладонью, покачала головой, но ничего не сказала.

Самовар запел, зафыркал паром. Хаерлебанат поставила его на стол, налила чай в распиланную полевыми цветами чашку с отбитой ручкой, протянула Исхаку.

– пей, сынок. Вон мёд бери. Зулехя принесла, услышала, что Нурулла приехать должен.

Исхак зачерпнул мёд, попробовал: очень вкусным и душистым, как всегда, был их деревенский мёд! Похвалил. Старуха сидела неподвижно, как бы глядя в себя выцветшими большими глазами. Исхак вспомнил о принесённом свёртке, обрадованно развернул газету.

– Чуть не забыл! Вот подарок тебе, Банат-апа.

Хаерлебанат развернула большой пушистый оренбургский платок, помяла его в руках, на глаза её навернулись слёзы.

– Спасибо тебе, сынок! – прошептала она, улыбаясь. – Не надо было так тратиться. Уважил... Было время, Нурулла писал – ему помогал очень. Может, благодаря тебе старик жив остался... Спасибо. Но не надо больше так тратиться. У тебя и своя жизнь есть. Не женился ещё?

Исхак покачал головой. Хаерлебанат заплакала навзрыд, уткнула лицо в платок и ушла на кухню.

Самовар потух и замолк, шуршали угольки в поддувале, рассыпаясь в золу. Чай у Исхака в чашке остыл, он так и не притронулся к нему. С кухни тянуло запахом свежее испечённого хлеба, будило давние, ненужные воспоминания...

Да, Хаерлебанат уже не была с ним так ласкова, приветлива, как прежде. Прежде ведь не знала, чем и попотчевать, куда усадить... Изменил он деревне. Из-за этого?

Попрощавшись, Исхак ушёл, побрёл проулками к дому. Чувствовал он какое-то неудовольствие, внутреннюю неудовлетворённость...

Из открытого освещённого окна их теперешнего пристанища – дома тётки Зулейхи слышался мужской голос. Должно быть, Ахмадулла-абзый вернулся. А мать говорила, что он в это время живёт на пасеке...

Войдя, он увидел за столом деда Хифасуллу. Шумел самовар на белой скатерти, мать выставила неожиданному посетителю все гостинцы, какие привёз Исхак, – конфеты, пряники, батон с изюмом. Дед Хифасуллу пил с блюдечка, держа его на растопыренных пальцах.

– Вот и агроном вернулся! А мы тут без тебя чаи гоняем. – Старик протянул Исхаку шершавую ладонь.

– Здравствуйте, Хифасулла-ага!

Исхак хмуро пожал протянутую руку и остановился, прислонившись к боку печки. Он почувствовал непонятное раздражение от того, что Хифасулла так по-хозяйски расселся, неторопливо пьёт чай с блюдечка и называет его насмешливо «агроном». Махибэдэр поглядела на мрачное лицо сына, спросила:

– Ну, застал тётку Банат дома?

– Где же ей ещё быть?

Ответ получился грубым, Исхак почувствовал это, но смягчать ничем не стал.

Хифасулла принялся торопливее дуть на блюдце.

– Ты что стоишь, как гость? – спросила Махибэдэр недовольно.

– Голова побаливает, – соврал Исхак.

– А ты попробуй крепкого чаю выпить с мёдом. Как корова языком слизнёт, и следа не останется... – благодушно посоветовал Хифасулла, утирая пот грязным большим платком.

– На ночь крепкий чай? До утра не заснуть.

– Ну, это вы теперь такие нежные, – хохотнул дед. – А мы вот пьём! Отец мой помер, девяносто четыре года было. В девяносто два сам нитку вдевал и косу отбивал – руки не дрожали! С вечера, бывало, покойник, самое малое десять стаканов чаю выпивал... И мяса, бывало, из миски самый жирный кусок выудит, обложет в своё удовольствие... Рановато, сосед, начал про здоровье думать!.. Садись-садись, сразу полегчает!

Исхак нехотя присел к столу, принял от матери стакан чаю, стал размешивать ложечкой: пить ему не хотелось.

– Давненько гостить не приезжал, – болтал Хифасулла. – Забыли мать-то, деточки... Мои вон все со мной, так-то оно лучше...

Собрал в ладонь крошки хлеба со своего края стола, бросил в большой ухмыляющийся рот, поблагодарил и поднялся.

– Да ты куда, сосед? – всполошилась Махибэдэр. – Выпей ещё чашечку!

– Спасибо, соседка, напился, домой пора. Я сижу – дела стоят.

– Сынок, – сказал Махибэдэр, – ты знаешь, ведь сосед Хифасулла с новостями приходил! Хусаин всем погорельцам лесу даёт, вроде бесплатно. И на крышу шифер... Гвозди, сколько надо...

– Точно уже известно, – старик испытующе глядел на Исхака.

– О, это очень здорово, если Хусаину удалось такую вещь повернуть! – Исхак сделал непроницаемое лицо и улыбнулся вежливо.

Хифасулла задержался у порога, присел на корточки, стал расспрашивать о городских новостях. Его развязный покровительственный тон раздражал Исхака, он отвечал односложно, давая понять, что ему не до разговоров. Наконец Хифасулла поднялся, нахлобучил малахай с оторванным ухом.

– Спасибо за угощение, соседка. Исхак, будь здоров, сынок, не болей.

Махибэдэр пошла проводить его до ворот, о чём-то говорила извиняющимся тоном. Хифасулла отвечал, добродушно похохатывая. Наконец Махибэдэр вернулась в дом.

– Сынок, я тебе в чулане постелила. Там попрохладней.

– Спасибо, мама, – Исхак покивал головой, отводя глаза. – Я и правда до смерти спать хочу. Устал... Спокойной ночи.

Мать стояла у двери в ожидающей позе, Исхак прошёл мимо неё, улыбнувшись, ничего не сказал.

Лёг, словно провалился в перину, в тишину, в забытые запахи детства. Пучки каких-то сухих цветов висели на стенах чулана, сладкой деревенской пылью пахло, самоварным дымком. Детством.

Не надо было приезжать. Видеть все эти вопросительные, недовольные взгляды, видеть обиженное лицо матери... Не надо было приезжать.

Сон пришёл только под утро, тихо проник в чулан, унёс с собой мучительные раздумья.

На следующий день он встал поздно, с головной болью, умылся, позавтракал и, побродив бесцельно по двору, снова укрылся в прохладе чулана. С соседней улицы доносился бодрый перестук топоров. Там строились...

К вечеру пришла с пасеки Зулейха-апа, принесла сотового мёда, жаловалась, что вот теперь она стала предчувствовать дождь: ноют ноги к непогоде. Сегодня, как ни уговаривал её старик, она на пасеке ночевать не осталась, вернулась в деревню. Будет ночью дождь...

И в самом деле, к вечеру напоззли тучи, закрыли рваными клубящимися клоками небо, погасили вечернюю зарю. Где-то далеко погромыхивал гром.

Зулейха-апа вынесла сидевшему на крыльце Исхаку семечек в деревянной чашке.

– Исхак, сынок, никак ты стесняешься, когда я дома?... Не сиди так тоскливо! На вот, полужгай семечек, годится до ужина рот обмануть! И тоска твоя поуляжется...

– Не тоскую я, Зулейха-апа. Просто голова болит. Перемена климата, что ли?

Махибэдэр тоже грустно сидела у окна, сложив руки под фартуком. И сегодня Исхак не сказал ей ничего. Со стороны казалось, что она сомлела в предгрозовой тревожной духоте сумерек.

– Дождь собирается, – сказала Зулейха-апа. – Исхаку не будет холодно в чулане?

Махибэдэр молчала, словно не слыша, Зулейха повторила вопрос.

– Пусть благодатным придёт.

– Что придёт? – не поняла Зулейха.

– Ты сказала: дождь будет... Вот и говорю, пусть благодатным придёт. Корни у трав иссохлись.

– Может, Исхаку снести в чулан тёплое одеяло? Холодно.

– Не носи. Замёрзнет – найдёт себе тёплые объятия! – раздражённо сказала Махибэдэр и поднялась.

Не было у неё больше мочи смотреть на Исхака, неподвижно сидящего на крыльце. Скорчился, обнял колени... Как подросток, без сил вернувшийся с весенней пахоты! Что сидит, что молчит?

Зулейха оторопело смотрела на рассерженную Махибэдэр.

– Что сердишься-то? Ты что, старая?

– Да ведь опять небось уйдёт к Хаерлебанат и пропадёт там! Трёх слов со мной не сказал, как приехал.

Махибэдэр, держась за поясницу, прошла на кухню, стала стелить себе постель на сакэ. Потом, шаркая отёкшими ногами, побрела на двор. Но на крыльце уже никого не было.

Исхак ушёл, даже не заперев за собой калитку, – та уныло хлопала на ветру. Махибэдэр просеменила до ворот, выглянула на улицу. Маленькие пыльные смерчи крутились на дороге. Исхака нигде не было. С трудом затянув калитку, Махибэдэр вернулась к крыльцу, села на оставленное сыном ещё тёплое место.

Ушёл... Опять ушёл туда! Не покинул ещё эти бредовые мысли, тоску свою, словно кем наворожённую!.. Хватит. Хватит с неё! Хоть теперь она и вынуждена, словно сирота бездомная, просить угла под чужой крышей, но Исхаку она по-прежнему мать. И обращаться с собой так не позволит!.. Уезжать – пускай, уедем, пропади всё пропадом, нельзя так дальше!.. Что ж мучает её сын и сам, как видно, мучается?...

Махибэдэр снова подошла к калитке, открыла щеколду – ветер вырвал у неё дверцу. На тыльную сторону сухой старческой кисти упала тяжёлая капля дождя. Махибэдэр, вглядываясь в темноту, пыталась различить худую высокую фигуру сына. Тянулись по тёмному небу дальние огни от фар проезжавших где-то машин, сверкнула молния, ополыхнув дремлющие горы синим отсветом.

«Аллах его храни, – прошептала Махибэдэр, закрывая калитку, и пошла домой. – Где-то бродит ребёнок под самой грозой?... Неужто снова у Банат?»

## 10

Но на этот раз Махибэдэр ошиблась, Исхак и не думал идти к Хаерлебанат. Просто захотелось размяться, облегчить движением томящееся сердце. Он опять повернул на их старую улицу, побрёл медленно по тёмному, заросшему травой порядку. Возле нового сруба, который слабо светился в темноте свежоошкуранными брёвнами, за Исхаком увязался щенок. Побежал следом, виляя коротким хвостиком, подпрыгивал, пытаясь ухватить зубами за штанину. Исхак посветил на него фонарём, почесал пушистую мягкую спинку, щенок тотчас перевернулся кверху животом и засучил лапками, стараясь обхватить руку Исхака. «Актуш, иди сюда, сюда!» – донёлся откуда-то издали тревожный мальчишечий голос, щенок вскочил и, переваливаясь на коротких лапках, затрусил на зов.

На улице больше не встретилось ни одной живой души. Тянуло запахом гари и свежей осиновой коры. Исхак свернул в проулок, спускающийся к ручью. Цветы хмеля, обвинившего высокие жерди плетней, колыхались на беспрестанно дующем ветру, словно кто-то таинственный и огромный размахивал за плетнём рукавами рубахи. Исхак, улыбаясь, поглядывал на трепещущий на ветру хмель, чувствуя, как весёлый детский озноб несерьёзного страха идёт по спине. Заглядевшись, он чуть было не упал, споткнувшись обо что-то мягкое. Посветил – телёнок. Исхак поднял его, погнал к деревне: заблудился бестолковый.

У воды тьма стала гуще. Облокотившись на перила мостика, Исхак постоял в задумчивости, слушая шум мелкой прибрежной струи, глядя в посверкивающую черноту волн.

Речка, речка – Чуал-елга, светлый ручеёк его детства. Чистым родничком выходишь в реку Мензелю. Мензеля, приняв тебя в своё лоно, несёт наполнившиеся воды в реку Ик. Слившись с водой реки Ик, вода его родной речушки Чуал-елги склоняет голову на грудь Камы... Из Камы – в Волгу, вот так...

Те, кто плывёт на больших пароходах по Каме и Волге, кто трудится на фабриках и заводах, работающих от энергии волжских станций, слыхом не слыхали, что есть у подножия Куктауских гор такой прозрачный холодный родничок, дающий начало речке Чуал-елга. А родничок с начала своего, от века тянется, стремится к Волге...

Разве не так же люди?

Родятся, мужают в Куктау, а потом по Каме, по Волге растекаются по дальним посёлкам и городам. Родник не иссякает оттого, что вода его прибавляет полноты Волге. Куктау тоже щедро продолжает поставлять широкой земле своих детей. Но не бесконечны глубинные запасы воды, хиреет без ухода корень родного Куктау. Пора ручейкам вспомнить о своём истоке...

Когда-то, совсем вроде бы недавно, вот здесь, на этом пяточке, плясали молодые парни и весёлые девушки, звенела тальянка рябого Василя. Теперь нет на свете многих из тех, кто ходил тут, сияя красотой, весёлой силой первой молодости. Ветры войны вырвали с корнем из земли Куктау эти прекрасные побеги, развеяли по ветру, смешали с прахом...

Над горой один за другим пророкотали удары грома. И тут же скоро сверкнула молния. И пошло! Не успеет с одной стороны вздохнуть и охнуть небо, постанывая от невыносимой тяжести туч, как уже взрывается грохотом темнота в другом конце, полыхают молнии.

Исхак стоял, опёршись на перила, слушая раскаты грома, любуясь всполохами молний. Разве в городе увидишь такую грозу!.. Мальчишкой он любил босиком бегать по мокрой траве под грозой, никогда не боялся.

Вдруг ухо его уловило между раскатами грома словно бы поющий девичий голос. Вскоре он смог различить и слова. Сердце его сжалось и заколотилось: что он, бредит?

Цветов много, но их не рву я...

Хочу выбрать самый душистый.  
Пока не найду самый душистый,  
Пусть не дует ветер,  
Не облетают цветы...

Голос то приближался, то удалялся. Исхак, сбегав с мостика, побрёл без дороги, стараясь уловить, откуда же летит к нему песня? Изредка он доставал из кармана фонарик и шарил лучом по дороге. Где же девушка? Голос смолк. Исхак остановился. Теперь ему не найти певичу. Или её не было вовсе, может, это память сердца воскресила в нём звук и повела за собой?

Исхак побрёл назад вдоль ручья, спотыкаясь о гнёзда чибисов. Вот здесь они часто сиживали с Санией, любясь закатным небом. Однажды он залез на обрыв и достал из гнезда птенцов ласточки-береговушки, показать Сание. Ласточки с жалобным криком носились вокруг, а Сания заплакала, жалея птиц. Исхак положил птенчиков обратно в гнездо, а на другой день притащил две горсти проса, насыпал. Однако, когда осенью Исхак забрёл сюда, разыскивая корову, он увидел на том месте, где он оставил свой дар, ростки проса. Значит, касатки не приняли пищи от врага...

Исхак шагнул к берегу и чуть не вскрикнул. На берегу, свесив ноги, сидела юная девушка. Она, видно, давно заметила приближавшегося Исхака, поэтому не испугалась, а, заслонившись ладонями от света, спокойно спросила:

– Потеряли что-нибудь, Исхак-абый?

– Потерял?... – растерянно переспросил Исхак и пошутил: – Юность потерял...

И подумал: «Это она пела, тот же голос...»

Девушка засмеялась.

– Я слышала эту притчу. Банат-апа рассказывала. Так ведь это дряхлый старик, выживший из ума, говорил...

– Вы знакомы с Банат-апа? – спросил Исхак. – Это она вас той песне научила?

– Она... – девушка почему-то вздохнула. – Мы живём недалеко, тоже на Дубовом проулке. Я дочь Яруллы, часто к Банат-апа захожу. Помочь немного... А она рассказывает. Песням учит. Молодёжи-то нет.

– Вы дочь Яруллы-абзый? Я знал его...

Исхак опустился рядом с девушкой, почему-то радуясь и удивляясь этой неожиданной встрече.

– Знали? – девушка обрадованно хмыкнула. – А я только на фотографии отца видела. Смутный такой снимок... В поле, во время сева снимали.

– А что Вы тут делаете одна? – Исхак оглянулся по сторонам, решив, что вспугнул парочку.

– Считаю молнии, – девушка улыбнулась. – За пять минут девяносто раз сверкнула. Удивительно: будто седьмое небо открывается... Вы любите молнии ночью?

– Как-то не задумывался об этом, – опешив, ответил Исхак.

– Тогда вы не знаете, что такое настоящее одиночество, – сказала девушка негромко. – Когда душевные силы не уходят на болтовню с подругами, на общение со сверстниками, то начинаешь постигать, как прекрасны грозовые ночи, буран... Закаты... Восходы...

«Аллах, сколько же ей лет? – удивился Исхак. – Говорит как мудрец...»

– Потушите фонарь, – попросила девушка. – Глаза слепит.

– Верно, я заговорился с Вами и забыл... – Исхак щёлкнул кнопкой, снова их обступила тишина, темнота и близкие вспышки молний. – Вы тут одна? Почему?

– Я ведь одна в деревне.

Исхак не понял, что девушка хотела сказать. При свете молнии он разглядел пухлые губы, широкие чёрные брови и коротко стриженные вьющиеся волосы.

– Хотел на гулянье попасть, да вот не повезло. Гроза разогнала молодёжь.

– Какая молодёжь! – усмехнулась девушка. – У нас всегда тихо, гуляний не бывает. Во время войны дети не родились... Я в сорок третьем родилась, отец раненый приезжал на побывку... Сколько лишней тишины вместе со мной народилось!..

Исхак вдруг ясно вспомнил большеврого, с пшеничными усами, высокого мужчину, с рукой в белом гипсе, висевшей на марлевой запачканной повязке... Кажется, его убили уже после окончания войны, где-то в Чехословакии... Дочка Яруллы... Вот и не срезала пуля дерево под корень, пошёл молодой побег от пенька, продолжится род Яруллы...

– Хорошо, что Ярулла-абый побывал во время войны дома! – вырвалось у Исхака. – И правда, мало встречаешь молодёжи вашего возраста...

– В детстве я всё одна играла... – продолжала девушка. – Тихая была, как старушка. Учиться пошла – одна. Во втором классе – одна. В третьем – одна. До пятого класса одна проучилась! В пятый стала в Мэлле ходить. И тут в классе нас оказалось шесть ребятшек одного возраста. Смотрим друг на друга, дичимся... Постепенно привыкли, играть начали. Не умели ведь вместе играть, время прошло, пока научились. И вот поняли – уж лет по двенадцать нам было, – как это здорово: играть в пятнашки! Раньше-то просто не с кем было. Или валяться на скирдах гуртом! Прекрасно... Тогда я немного детство ощутила, веселье беззаботное. А теперь снова тишина... В деревне моих сверстниц нет. Либо много старше, либо много моложе... Хочется пойти куда-то, с кем-то увидеться, но... Молодые очень молоды, взрослые очень взрослые... Вот, – девушка вдруг хлопнула в ладоши, – сто тридцать третья! Так много ещё ни разу не было.

– Как Вас зовут? – спросил Исхак. – Разговариваем, а имени Вашего я не знаю.

– Сания... – через паузу ответила девушка. – У Банат-апа дочку так звали, маме понравилось. Та Сания погибла во время войны, оказывается...

– Да... – не сразу отозвался Исхак, почувствовав, как что-то, то ли счастье, то ли прежняя тоска тревогой стеснило дыхание.

– Вот как... Сания...

Исхак, сам того не заметив, протянул руку и сжал холодные пальцы соседки.

– Что вы, Исхак-абый? – неловко усмехнувшись, спросила девушка.

– Я знал Санию, – Исхак замолчал, больше ничего не добавив.

Молчала и девушка.

Может, Банат-апа рассказывала молоденькой Сании о дружбе своей дочки с парнем, который теперь живёт в городе? Иначе откуда бы девушке знать его имя?

– Мне рассказывали о вас... – как бы подтверждая его мысли, сказала Сания. – Вы странный человек...

По листьям ивняка зашелестел дождь. Сания поднялась:

– Идёмте... Сильный, видно, будет.

Они пошли к деревне. Исхак по-прежнему держал девушку за пальцы, та их не отнимала. Было ему словно бы веселее и легче, оттого что какой-то славный, непохожий на других юный человечек посвящён в его горе, его тайну. И молчит деликатно и сочувственно, не беря раны, но и не оставляя его одного. Он не хотел ничего загадывать, ему было хорошо...

На Дубовом проулке они попрощались.

– Вы когда уезжаете, Исхак-абый? – спросила девушка.

– Не знаю... Я увижу вас завтра?

– Если хотите... Приходите на то же место, вечером. Днём я в колхозе работаю.

Исхак ещё раз пожал согревшиеся в его ладони пальчики и быстро зашагал к дому Зулейхи.

Из кухонного окна падала в черноту двора коротенькая полоска света. Исхак раскаянно подумал, что вот за полночь, а мать не спит, поджидая его. Он рванул дверь в избу. Мать сидела на сакэ, подперев подбородок руками, и даже не обернулась, когда он вошёл.

– Мама... Почему не спишь?

Махибэдэр медленно выпрямилась. Исхак, как в детстве, сел на корточки на пол, опершись спиной о печку. Улыбаясь, смотрел матери в лицо.

– Материнский сон дети уносят...

Махибэдэр покачала головой и, не отвечая на улыбку сына, смотрела на него серьёзно и задумчиво.

– Вот я принёс его, мама! Давай спать. Я тоже спать хочу!

– Сынок! – сказала вдруг Махибэдэр с отчаянием. – Я решила, прошу тебя, уедем отсюда! Если не хочешь, чтобы я у тебя жила, у сестры твоей буду жить... Измучилась я одна. Нет терпения вековать одинокой совой!

– Ты хочешь уехать, мама?

– Сердце моё не может видеть, как ты мечтаешь... Опять у Банат сидел?

– Нет. Я к ней не заходил сегодня.

– Всё равно... Отвык ты, видно, от Куктау... Ну, значит, Аллах так хотел!

Исхак поднялся.

– Дай мне ещё один день, мама, – сказал он. – Долго ждала, подожди ещё день.

Махибэдэр ничего не ответила. Исхак, пожелав матери спокойной ночи, вышел в сени. Напившись воды из ведра, ощупью прошёл в чулан, бросился на постель.

По крыше шелестел дождь.

Исхак проснулся рано. Зулейха-апа доила корову в хлеву, слышно было, как бьют о стенки подоюника звонкие струйки, как жуёт жвачку корова и Зулейха-апа покрикивает на неё, чтобы стояла спокойно. Исхак поёжился от утренней сырости и, схватив полотенце, побежал на речку.

Ночной дождь хорошо промочил землю. Кто-то проехал по лугу на телеге, ошмётки грязи с колёс упали на зелёную грудь земли, словно багровые следы плети.

Кто только во все времена не оставлял на зелёной груди земли чёрных следов!.. Но эти следы до другого дождя – прольётся и смочит чёрные отлётки, под которыми потухла молодая трава...

Вдоволь поплескавшись в воде, Исхак бегом вернулся домой. Мать уже проснулась, но ещё не вставала, следила хмурыми глазами, как сын надевает белую рубашку, галстук, гладко зализывает перед зеркалом чёрные волосы. Исхак улыбнулся матери:

– Я скоро приду.

Выйдя на улицу, он глянул на розовое солнце, поднимавшееся из-за домов, и зашагал в Верхний конец, к Хусаину.

«Вернись к истоку...» – шептала ему родная земля.

## Три аршина земли

### 1

О том, что в четвёртом вагоне случилась беда, пассажиры узнали по радио. Вдруг превалась на полуслове передача какой-то слащавой, убаюкивающей песенки и поездной радист трижды кряду повторил:

– Если среди пассажиров есть врач или фельдшер, просьба срочно пройти в четвёртый вагон!

В купе и коридорах засуетились. Посыпались предположения и догадки... Единственный человек, имевший отношение к медицине, ехал в самом хвосте поезда, в тринадцатом вагоне. Это была фельдшерица, уже в годах, направлявшаяся в Сочи. Радуюсь тому, что на целый месяц избавилась от своих хлопотливых обязанностей, наслаждаясь покоем, она почти целый день спала и видела хорошие сны. Многократные призывы радиста придали смелости её спутникам. Они сначала осторожненько окликнули её, а потом принялись трясти.

– Вставайте. Пожалуйста! Проснитесь!..

Фельдшерица, должно быть, привыкла к тому, что её могут разбудить в любое время. Не вздрогнула, не удивилась. Приподнялась, села. Посмотрела на грядку бегущих за окном стройных сосен:

– Казань, что ли?

Она попросила соседей будить её на больших станциях.

– До Казани далеко ещё, – ответили ей. – Да вот беда тут приключилась...

В репродукторе, умолкшем на время, вновь зашуршало, и фельдшерица услышала умоляющий голос радиста:

– В четвёртый вагон... в четвёртый вагон...

Она проворно сбросила простыню, сдёрнула с крюка белоснежный платок, повязалась, мельком оглядев себя в зеркало, поправила воротничок и решительно шагнула к выходу.

В четвёртом вагоне бригадир поезда и проводники обступили в коридоре мужчину, курившего папиросу за папирсой.

– Так ведь трое суток уже едем! Трое суток! – который раз досадливо повторял бригадир. – Чтоб тебе прийти и сказать, что жена больна? Язык отсох, что ли?

Больше всех горячилась проводница четвёртого вагона, низенькая, кругленькая, словно мячик, толстушка.

– Скажет, жди! Он и меня-то, когда я вмешалась, крыл на чём свет стоит. Жена того гляди умрёт, а у него и думушки нет. Встанет с зорькой, облапит себя за плечи и дымит, и дымит... Весь вагон провонял своим табачищем!

Её дружно поддержали, кто-то философски заключил:

– Да, поезд не вертолёт. Не повернёт, куда хочешь. Проложили тебе, стало быть, рельсы, вот и катишь и катишь по ним...

Мужчину звали Мирвали.

Он молча слушал сыпавшиеся на него упрёки и, управившись с одной папирсой, прикуривал от неё другую. А если кто-либо из говоривших подходил слишком близко, он закрывал ухо левой рукой. Его угрюмая и немая строптивость вывела железнодорожников из себя, они начали кричать пуще прежнего:

– Жена ведь, жена!

– Не сердце, видать, у него, а камень!..

Мирвали повернулся к тому, кто сказал о его жене. Густые сросшиеся брови вдруг шевельнулись:

– Зря вы тут расшумелись!

Бригадир поезда взмахнул руками.

– Здесь шуметь мало!.. Взял больного человека в такую дальнюю дорогу! Тут и здоровому-то, ой-ой, как достаётся.

– С какой совестью повёз ты её в эту даль? – возмущалась толстуха проводница, наступая на Мирвали, словно норовя боднуть его высокой грудью.

– Сама захотела!

– Знаем мы вас, мужчин! Всегда у вас жёны виноваты...

Бригадир жестом предложил ей помолчать и начал усовещивать Мирвали:

– Сказал бы вовремя, давно бы устроили в хорошую больницу.

– Чтоб поскорее избавиться?

– Вот и поразговаривай с ним! – Опять вмешалась проводница.

– Кто вас звал? – огрызнулся Мирвали. – Что вы привязались ко мне?... Поговорите с ней самой, спросите, почему едет в такую даль. Или думаете...

– Кто же кого везёт? – насмешливо спросил бригадир.

– Кто кого, спрашиваете?... – Глаза Мирвали горели, будто раскалённые угли. – С этого и надо было начинать!.. Эх вы!..

Фельдшерица открыла и закрыла двадцать дверей, пока наконец добралась до четвёртого вагона. По тому, как уверенно ступала она, собравшиеся поняли, что идёт самый нужный в эту минуту человек. Расступились, чтобы дать ей дорогу.

– Я фельдшер. Где больной?

Бригадир выступил вперёд:

– Мы уже совсем потеряли было надежду...

– Больной где?

– Вот здесь, в этом купе. Лежит.

– Что случилось? Кто такой? Давно? – спрашивала фельдшерица, взявшись за дверную ручку.

– Вот он должен знать, – сказал бригадир, указывая на Мирвали. – Это его жена.

– А вы у неё самой и спросите, – грубо ответил Мирвали.

Фельдшерица, поняв, что толку не добьёшься, с силой нажала на ручку и открыла дверь.

На нижней полке слева лицом к стене лежала больная, прикрытая белым одеялом. Седые поредевшие волосы беспорядочно разметались по подушке. Услышав, что дверь отворилась, она чуть приподняла голову и по-татарски спросила:

– Мирвали, до Казани далеко?

Фельдшерица была русская, она не поняла вопроса.

– Вы о чём, дорогая? Я фельдшер...

– Я думала, это муж, – сказала больная на чистом русском языке и, сжав зубы, с трудом повернулась к гостье.

– Он здесь, в коридоре. Может, позвать?

– Не надо.

Фельдшерица много лет проработала в больнице и теперь наметанным глазом с одного взгляда поняла, что положение больной тяжёлое. Везти её дальше в тряском и душном купе – значит, обречь на смерть... На столе рядом с банкой молока и земляничкой в бумажном пакете расставлены пузырьки и коробочки с лекарствами... Тут и валокордин, и валидол... До чего же худая!.. Стало быть, болеет уже давно.

Они поговорили о разных незначущих вещах, посетовали на тяжесть и хлопотливость дальних поездок. После этих обычных слов фельдшерица присела около больной. Взяла её влажную руку в свою.

– Где у вас болит?

Жена Мирвали тяжело вздохнула и, глядя на потолок, покачала головой:

– Ничего не болит, – и словно желая убедить себя в правильности собственных слов, повторила: – Ничего.

Помолчали. Затем больная печально сказала:

– Окно бы открыть... Мирвали против... Муж мой... Дым, говорит, набьётся... Ну и пусть набьётся!..

Фельдшерица бросила взгляд на мутное стекло. Клубы дыма то и дело словно бы приносили к окну.

– Пожалуй, и впрямь не стоит открывать. Паровоз чадит – просто жуть.

– Душно мне, – застонала больная через минуту. – Воздуха не хватает. Вышла бы, прогулялась в коридоре, да ноги что-то не держат. То ли дорога вымотала, подгибаются, будто ватные...

Нажал ли кто на тормоз – стремительно несшийся поезд вдруг резко дёрнулся. Пузырьки на столе звякнули, ударившись друг о друга. С верхней полки скатилась большая соломенная шляпа. Больная, лежавшая на краю, чуть не свалилась на пол – закрыла глаза и обеими руками судорожно вцепилась в одеяло.

– Как вы себя чувствуете?

Ответа не последовало. Фельдшерица быстро налила в стакан воды из бутылки, стоявшей на столе, и накапала валокордину. Затем расстегнула кофту и попыталась прослушать сердце, но вагонные колёса непрерывно стучали и, как она ни старалась, прослушать не удалось. Снова взяла руку больной и с трудом нащупала пульс. Он бился неровно, словно грозил вот-вот прерваться.

Фельдшерица поспешила в коридор.

– Её надо положить в больницу, – обратилась она к бригадиру, – нельзя медлить ни минуты.

Бригадир опешил:

– Что? Что?

– Сейчас же, сию минуту... Ни секунды нельзя ждать!

Бригадир уныло покачал головой и, как бы желая объяснить что-то, кивнул на окно, за которым бежали деревья и, отставая от поезда, словно падали друг другу в объятия.

– До Казани ничего сделать нельзя... Ни одной остановки.

– А далеко до Казани?

– Через четыре часа будем.

– Четыре часа?

– Раньше никак. Расписание.

– Через четыре часа будет поздно. Её нужно положить в больницу немедленно.

Проводники скучились в сторонке и пошептались.

– Раз состояние такое тяжёлое, сделаем остановку на станции Кудрявый лес.

– А больница там есть?

– Поблизости должна быть больница! – успокоил фельдшерицу бригадир и пошёл распорядиться об остановке поезда.

Мирвали преградил ему дорогу.

– Ну, что надумали?

– Что, что... Сделаем остановку и оставим её.

– Она сама так велела?

- Кто?
- Шамсегаян.
- Что за Шамсегаян?
- Моя жена!
- Я так велела! – вмешалась в разговор фельдшерица.
- Её нельзя оставлять... Нельзя класть в больницу.
- Это же... да это же какое-то варварство! – возмутилась фельдшерица.

Бригадир остановился в нерешительности, поглядывая то на Мирвали, то на фельдшерицу и не зная, идти или нет.

- Прежде у неё самой спросите. А то шуму не оберёшься.
- Какой шум?
- Она не хочет в больницу, она торопится в Карачурово. В родную деревню.
- Она никуда не доедет, – сказала фельдшерица, вконец потеряв терпение.

Проводники засуетились:

- Подъезжаем к Кудрявому лесу!

Бригадир ещё раз взглянул на Мирвали и, махнув рукой, побежал к машинисту.

Толстые губы Мирвали дрогнули. Сжав огромные, с детскую голову, кулаки, он с ненавистью уставился на фельдшерицу:

– Вам кажется, что вы всё понимаете!.. Ни черта-то вы не смыслите... Или думаете, я по своей охоте собрался в такую даль? Думаете, это мне не терпится доехать до Карачурова?... Эх вы!.. Скажите-ка ей, что её хотят высадить в каком-то Кудрявом лесе! Она всё равно не останется. Хоть на четвереньках, да пойдёт...

Когда поезд остановился, первым на платформу соскочил бригадир. За ним из вагона вышла фельдшерица... Станционные работники, удивлённые неожиданной остановкой поезда, сбегались со всех сторон, на ходу застёгивая кители.

Бригадир подал руку дежурному по станции.

- Больница далеко?

– В восьми километрах, – ответил дежурный, справляясь с последней пуговицей на кителе.

– Не близко! – Бригадир обернулся к фельдшерице, которая тоже слышала ответ дежурного. – Как быть?

- Оставить.

– Легко сказать! – укоризненно проговорил бригадир. – Восемь километров. Повезёшь, а она по дороге умрёт. Кому отвечать? Будешь потом всю жизнь мучиться, что оставил больного человека помирать.

- Но везти её дальше никак нельзя, – настаивала фельдшерица. – Она без сознания.

– Не такая уж это даль – восемь километров, – вмешался дежурный. – На лошади можно доехать.

- А где взять подводу?

- Подводы есть. Знакомые ребята едут в Караталлы за товаром. В сельпо.

Бригадир колебался. Фельдшерица принялась уговаривать его. Наконец тот согласился.

Дежурный побежал к станционной столовой за подводой. Бригадир и фельдшерица направились в вагон. Навстречу им с подножки соскочил Мирвали.

- Нельзя её здесь оставлять! Нельзя! Слышите?

- Что? Что?

Разозлившись окончательно, бригадир схватил Мирвали, чтобы оттолкнуть его с дороги, но, коснувшись крепких, будто каменных, плеч, сразу отказался от своего намерения. Можно было подумать, что под рубахой у Мирвали стальные латы. Хотя роста они были одинакового,

но рядом с этим странным человеком бригадир чувствовал себя немощным и слабым, словно цыплёнок. Это почему-то ещё пуще рассердило его: смешно вытаращив глаза, он заорал:

– Прочь с дороги! Я тебя под суд отдам!

При слове «суд» смуглое, загоревшее лицо Мирвали вдруг побледнело, большие руки беспомощно опустились. Он посмотрел на бригадира, словно хотел проглотить его с костями, и освободил дорогу.

Пять-шесть человек вынесли из вагона Шамсегаян. Когда Мирвали увидел недвижимое, словно безжизненное тело жены, ему стало не по себе. Как всё повернётся теперь? Как?

Дежурный привёл возчика стоявшей возле столовой подводы – белобрысого большеглазого деревенского парня с широким румяным лицом. Они взбили и расстелили на телеге ровным слоем душистое, перемешанное с клевером сено. Поверх возчик положил изрядно потёртую кожанку. Проводница четвёртого вагона принесла одеяло.

Фельдшерица сгрудила к изголовью побольше сена и вдруг заявила:

– Я провожу её до больницы.

Мирвали, раздражённый тем, что столько посторонних людей непрошено вмешалось в их жизнь, окончательно взорвался:

– Кто тебя просит? Ей никого не нужно, никого! Даже если сам Аллах со всеми своими ангелами придёт и прикатит бочку живой воды, и то ей не нужно!.. Или думаешь, она больницы ваши не видала? Думаешь, не знала, что больна? Всё знала! И на поездке сама настояла, и врачей звать сама запретила!

В душу бригадира закралось сомнение: «Если этому психу доверить больную, чёрт знает что может случиться. Как бы потом расхлёбывать не пришлось!..» Он тихонько окликнул фельдшерицу:

– Может, всё-таки дотерпит до Казани?

– Нет, – покачала головой фельдшерица. – Ей нужны покой и воздух.

Кто-то вынес и сложил около телеги багаж Мирвали: два довольно-таки увесистых чемодана, большой узел и сумку Шамсегаян. Возчик, поплевав с деловым видом на ладони, пристроил всё это на телеге и увязал чемоданы верёвкой, прикрученной к грядущке.

– Ну, родной, будь аккуратен. Счастливо вам доехать, – сказал бригадир.

Фельдшерица дала Мирвали бессчётное количество наказов. Тот, соглашаясь со всем, кивал головой. Кстати и некстати приговаривал:

– Да, да... Так и сделаю.

Поезд и лошадь тронулись почти одновременно и некоторое время шли рядом. Пассажиры, облепившие вагонные окна, показывали друг другу то на Мирвали, то на подводу, то на Шамсегаян и о чём-то горячо толковали. Мирвали опустил голову, чтобы не видеть любопытных взглядов. Вот поезд прогремел мимо и скрылся за поворотом. Только донёсся прощальный раскатистый гудок и долго ещё стонали рельсы.

Дежурный проводил их за переезд и затоптался на месте, смущённый тем, что вынужден покинуть их. Сказал на прощание:

– Пойду позвоню. Может, машину вышлют навстречу.

Возчик подал ему руку. Мирвали же не сказал ни слова.

Двинулись дальше.

Гнедая кобыла в шеголеватой ременной сбруе катила телегу легко, будто играючи. Возчик то шёл рядом с лошадыю, то шагал вровень с телегой – поправлял одеяло, подтыкал сено. Повернувшись к Мирвали, он шёпотом спросил:

– А что у неё болит?

– Не знаю... Врачи толком ничего не говорят.

Вдоль линии шла широкая полоса молодого березняка, обрамлённая кустами акации. Затем дорога вклинилась в высокую рожь. Глядя на ровные ряды посевов, на нежные, в беле-

сой пыльце колосья, Мирвали принялся придирчиво выискивать недоделки и огрехи. Но не нашёл. Видно, работали люди, знающие цену земле. Только в одном месте машины, должно быть, чтоб разминуться, проехали по посевам, проложили по два чёрных следа, перемешав уже наливавшиеся колосья с бурой землёй. Увидев эти следы и до времени пожелтевшую рожь, Мирвали ядовито усмехнулся. Ага!..

Оказалось, что и возчик принял это близко к сердцу.

– Бывают ведь люди, абый! – сказал парень, прищёлкнув языком, и указал на загубленную рожь.

Мирвали стал оправдывать шофёров:

– Дорога узка! Вот и потоптали...

Возчик, заложив руки за спину, зашагал рядом с Мирвали.

– Нельзя же из-за того, что дорога узка, хлеба губить!.. Немало и широких мест. Увидел машину – подожди. Не на пожар едешь.

– Случается, что ждуть не с руки... Ни с чем не считаешься...

С тех пор как въехали в поле, в ушах Мирвали стоял какой-то неумолчный звон. Он замедлял шаги, силясь разобрать, что это такое. Извёлся, пока понял, что звенит обступившая его тишина, – уши за трое суток привыкли к беспрестанному перестуку колёс, скрежету и гудкам. Вообще-то поле было не совсем безмолвным: в посевах и по обочине дороги верещали кузнечики, пронёсился по ржи ветерок. Но что значит такая малость, как стрекот кузнечиков, если человек трое суток жил в непрестанном грохоте идущего поезда!

Дорога шла прямо-прямо. Поле было ровное-ровное. Вот эта прямизна и неоглядная равнина выводили Мирвали из себя, раздражали, тревожили. К тому же эта прямая ровная дорога похрустывала под ногами, будто корка пшеничного хлеба, только что вынутого из печи, рождая в затылке Мирвали ощущение ноющей боли. Должно быть, недавно прошёл дождь...

Мирвали старался ни о чём не думать. Но впереди тянулась длинная прямая дорога, вокруг до самого горизонта раскинулось ровное поле, поэтому мысли, как их ни придерживай, разбегались в разные стороны, и Мирвали стало не под силу поспевать за ними. Когда же эти путанные думы и отрывистые впечатления замолкали, в душе Мирвали, как он ни упрямился, как он ни хотел отмахнуться, настойчиво всплывал всё тот же вопрос: «Куда это ты едешь, Мирвали? Куда ты надумал возвращаться?...»

Шамсегаян вдруг очнулась, открыла глаза и увидела над собою высокое-высокое синее небо. Долго вглядывалась, не понимая, откуда оно взялось. Куда её везут? Кто он, этот большеглазый парень, жалостливо уставившийся на неё?...

Она опёрлась на локти, приподнявшись, осмотрелась. И увидела Мирвали. Шевельнула губами. Возчик подошёл к Мирвали.

– Кажется, пить просит...

Но не пить просила она. Мирвали хорошо понял, что сказала Шамсегаян, чуть шевельнув губами. Понял, в ярости сжал кулаки и крепко выругался про себя.

– Что она сказала?

– Не слышал разве?

– Слышал, да не совсем разобрал.

– Она... спрашивает, далеко ли ещё до Карачурова.

– Далеко... – протянул возчик. – От Кудрявого леса считают шестьдесят пять вёрст. – Радуюсь случаю поговорить, возчик сдвинул на затылок покрытую пятнами мазута фуражку с широким козырьком, из-под которого выбились мягкие волосы, и, откровенно гордясь тем, что парень он бывалый, добавил: – Приходилось бывать!.. И нынче весной проезжали. Большая деревня, очень большая. А как же!..

Мирвали намеренно старался не глядеть на Шамсегаян. Не спросила, почему они не в поезде, не поинтересовалась, собрал ли он, увязал ли вещи. Только одно знает – подавай ей

Карачурово! Сколько можно жевать одну и ту же жвачку? Раз вышли в дорогу, стало быть, доберутся! И возчик вон говорит, что Карачурово на месте, ни молнией его не сожгло, ни в преисподнюю оно не провалилось!

Так шёл Мирвали, думая о своём. Но вот губы Шамсегаян опять шевельнулись, и на этот раз её слова разобрал даже возчик:

– Зря они испугались там... В поезде, говорю... Пока не вернусь в Карачурово, я не умру!.. Не умру!

Сердце Мирвали бешено заколотилось. А тут, как назло, возчик задал неуместный вопрос, будто вонзил нож в самое сердце:

– В Карачурово, стало быть, держите путь?

Совсем неожиданно парню ответила сама Шамсегаян:

– Да, в Карачурово возвращаемся.

Парень оживился:

– Откуда же это вы едете? Издалека? Надолго?

Опасаясь, как бы Шамсегаян не наговорила лишнего, Мирвали поспешил вмешаться в разговор.

– Очень издалека! Оттуда! – сказал он, кивнув головой куда-то назад.

Словно бы подтверждая его опасения, Шамсегаян снова зашевелилась, приподнялась, опёршись на локти, и, повернувшись лицом к солнцу, блаженно улыбнулась. На её щеках, испещрённых мелкими морщинками, выступил неяркий румянец. Мирвали поразился: его жена, уже с весны мучившаяся тяжёлой болезнью и не поднимавшаяся с постели, его Шамсегаян вдруг рассмеялась, залилась счастливым воркующим грудным смехом, точь-в-точь как в девичестве.

– Мирвали, слышишь? Жаворонок! Полевой жаворонок!..

Он впервые за всю дорогу посмотрел на небо. Яркие лучи солнца так высоко раздвинули небесный купол, что он, как ни старался, но разглядеть жаворонка не смог. Небо синее-синее!.. Только кое-где плывут облачка. Но и они были лёгкими и прозрачными, словно детские печали, тень от них, не достигая земли, растворялась где-то на полпути. И всё же жаворонок Мирвали услышал. В самом деле, поют! Много их. Возчик приставил широкую ладонь ко лбу, тоже выискивая жаворонка.

– Жаворонок тьма! – сказал он, вызывая спутников на разговор.

Только ничего из этого не вышло. Не смогли жаворонки развязать язык Мирвали. Между тем переднее колесо начало противно поскрипывать. Возчик раза два легонько пнул ногой ось. Измазав руки в дёгте, ослабил чеку, но скрип не прекращался. Шамсегаян взглянула на раскрасневшегося от усилий парня и попросила:

– Оставь. Пусть скрипит. Это же так приятно...

Потихоньку они привыкли к голосу поля. Поскрипывала телега, неумолчно пели жаворонок, наперебой трещали кузнечики. Возчик обиделся на Мирвали. Он прошёл вперёд, выдрал куст полыни и принялся отгонять крупных зеленоглазых слепней. Шамсегаян, забыв обо всём на свете, словно бы заворожённая, не отрывала глаз от хлебов.

– Рожь пахнет! – восторженно сказала она немного спустя. – Дышать в удовольствие. Ой, есть же на свете счастливые люди! Не то что в городе...

Мирвали не понравилась словоохотливость жены. Он довольно резко сказал:

– Смотри, опять надорвёшься.

Шамсегаян ласково усмехнулась.

– Теперь нет. Не надорвусь. Раз уж доехала сюда, ничего со мной не будет!.. Только вот васильков совсем не видать. Раньше, в наше время, во ржи всегда попадались васильки.

Возчик отбросил в сторону измочаленную полынь.

– И сейчас они есть! Трактор, конечно, глубоко пашет, не даёт сорнякам жизни. Но васильки и теперь попадают.

И Мирвали, и парень стали поглядывать по сторонам. Вскоре возчик обрадованно вскрикнул:

– Вот! Говорил же я!

Он сорвал во ржи у дороги ветвистый весь в цвету стебель и протянул его Шамсегаян.

– Возьмите, апа!

Шамсегаян взяла цветы. Поблагодарила парня и прикрыла лицо васильками, слегка пахнущими мёдом и влажной землёй. Не выдержала – заплакала.

При виде слёз, блеснувших между цветами, в душе Мирвали пробудилась, затеплилась надежда. Может, теперь они договорятся и уже не станут возвращаться в Карачурово. Доедут до больницы, передохнут и повернут назад. Зачем ей тащиться в Карачурово! Поля там точно такие же, и те же жаворонки чирикают.

Вот такая мысль вдруг осенила Мирвали, расстроенного тем, что неожиданно-негаданно пошли прахом все его обдуманые в поезде планы: доехать до Казани и под каким-нибудь предлогом самому задержаться там, а в Карачурово отправить Шамсегаян одну. Внезапно вспыхнувшая надежда на благополучный исход поездки придала ему смелости. Он игриво хлопнул возчика по спине огромной ручищей:

– Ну как, далеко ещё до больницы?

– От того вон поворота четыре версты.

Ага, значит, эта невыносимо прямая дорога должна сейчас куда-то повернуть!

Они уже подходили к повороту, когда навстречу им выскочила машина скорой помощи. Из кабины вышел высокий, совсем ещё молоденький врач и торопливо направился к ним.

Шамсегаян заупрявилась, говорила, что не хочет в машину, что здесь ей веселее, но всё же пришлось расстаться с телегой.

Откуда-то дохнуло ветерком. Посреди плавно заволновавшейся ржи остался только один возчик, приставивший ладошку к белёсым бровям. Гнедая кобыла воспользовалась случаем, потянулась к обочине и, пошевеливая мягкими губами, принялась поедать нежные сочные колосья. Возчик, обычно поднимавший страшный шум из-за каждого колоска, сегодня промолчал. И долго стоял, поглаживая кобылу по холке и провожая глазами машину. Вот она повернула, въехала на косогор, исчезла. Над полем носился только какой-то непривычный, чуждый, горьковатый запах бензина и лекарств.

Жаворонки самозабвенно заливались в своём доме под синим куполом. Веял освежающий ветерок. Пылила дорога.

## 2

Из деревенской больницы даже самая маленькая новость мигом попадает на улицу: если белёсая машина на бешеной скорости проскочит в ворота, так и знай, вот за этими окнами, задёрнутыми лёгкими занавесками, кто-то борется с безжалостной смертью, чья-то судьба брошена на весы... Кто перетянет?...

В таких случаях женщины, живущие по соседству с больницей, плотно закрывают окна, чтоб шум и суэта в доме не вырывались наружу. Мальчишки и те понимают что к чему и уходят играть подальше, к реке. Не успеет улечься пыль, поднятая машиной, как улица настороженно затихает.

Шамсегаян лежит при смерти...

Мирвали ещё об этом не знает. Он уже около часа сидит под навесом во дворе больницы, время от времени поднимает голову, подолгу смотрит на дверь, и всё ему кажется, что Шамсегаян выйдет оттуда на своих ногах.

Но вдруг в больнице прекратилось всякое движение, и это заронило в его душу тревогу. Во двор в сопровождении пятнистой облезлой собаки забрёл было мальчишка лет семи с веснушчатым носом. Однако и они не нашли здесь ничего занятного. Мальчонка покрутился около Мирвали и стал как вкопанный, сосредоточенно ковыряя в носу и поглядывая исподлобья на чужого большого человека. Собака прошлась несколько раз, робко помахала хвостом и обнюхала сапоги, ставшие от дорожной пыли серыми. Мирвали на мальчонку даже не взглянул, а на собаку крепко выругался и топнул ногой:

– Пшёл!..

Он сидит на берёзовом чурбаке, трухлявом от долгого лежания в тени на сырой земле. Времени, видно, прошло порядком: вокруг чурбака валяется множество окурков. Косые лучи солнца заглянули под навес, подогревая спину Мирвали. Одной рукой он перекатил берёзовый чурбак и устроился там, куда ещё не доставало солнце. Громко зевнул, прикрыв рот ладошкой, и, уставившись на тихие, закрытые белыми занавесками окна, пожал плечами: «И чего они там копаются?»

Когда Шамсегаян унесли в больницу, он сказал врачу:

– Уж поскорее там, пожалуйста.

А они, видать, не торопятся... Им спешить некуда. А вот Мирвали не терпелось поделиться с Шамсегаян своими соображениями, поскорее добиться её согласия и успокоить душу. Не то с ума сойдёшь от мыслей.

У Мирвали кончились папиросы. Он яростно начал рыться в карманах, и когда ему попались железнодорожные билеты, в сердцах скомкал их и кинул в дождевых червей, которые, нороя скорее зарыться в землю, копошились на том месте, где раньше лежал чурбак.

Внезапно пахнуло чем-то очень знакомым, но почти забытым. Мирвали вытянул толстую шею и, раздувая ноздри, принюхался. Запах плыл со стороны высокого тесового забора. Мирвали поднялся с чурбака и направился туда. Осмотрев одну за другой плотно сбитые доски, обнаружил круглую дырку размером в бычий глаз. Отверстие было низко, пришлось нагнуться так, что у него хрустнуло в лопатках. По ту сторону был сад, и на грядках росли ночные фиалки<sup>6</sup>. Эти цветы, днём при солнце стыдливо смежающие ресницы, сейчас ещё не совсем раскрылись. Только те, что попали в тень от забора, тихонечко, как бы тайком, расцвели и изливали одуряющий сладкий аромат. То ли оттого, что он стоял наклонившись, то ли от запаха цветов – у Мирвали вдруг закружилась голова. Широко раскинув руки, он прислонился к забору икрепко, до боли в глазах, зажмурился...

---

<sup>6</sup> Ночной фиалкой в Татарстане называют маттиолу.

В год, когда они поженились, Мирвали очень хотел, чтобы у них был ребёнок. Как-то в разговоре с Шамсегаян у него даже вырвалось, что если окажется дочка, то назовут её Миляуша<sup>7</sup>. После этого Шамсегаян невесть как и откуда раздобыла семена ночной фиалки и каждый год сеяла их под окнами в палисаднике. Растила их с любовью, поливала, рыхлила, полола. Да... Фиалки росли, только маленькой Миляуши, той самой живой Миляуши, которая в их мечтах давно уже бегала между грядок, поблёскивая круглыми, будто пуговики, глазами, всё не было...

Он вздрогнул и поднял голову. Девушка в белом халате крикнула ему с больничного крыльца:

– Абый, идите-ка сюда!

– Что такое?

– Абый, мы очень вкусную кашу сварили. С дороги-то вы, наверно, проголодались...

«Гм... Каша... Больничная каша!..» – Он безразлично сморщил нос:

– Я не хочу есть!..

Шамсегаян лежит при смерти...

Только молодой врач сельской больницы не хочет примириться с этим. Правда, Шамсегаян, должно быть, пережила очень много тяжёлого и горького. Сердце её изношено, надорвано и уже не в силах бороться, однако он должен помочь! Смерть, она безжалостна, и её можно победить только упорной борьбой... Вся жизнь человека – это борьба со смертью... Бороться... бороться... Так думает врач.

Шамсегаян лежит при смерти.

Одному Мирвали не говорят, насколько тяжело её состояние. Никто не хочет сообщить такую весть. Это ведь только у радости лёгкие ноги.

Сколько можно ждать? Скорее бы поговорить с Шамсегаян!..

У Мирвали теперь только одна мысль: вот Шамсегаян поправится, и они сядут друг против друга и поговорят. (Не то всё ходила, обижалась, что никогда-то не сядут, не поговорят друг с дружкой!) И всё станет на свои места. Не захочет же она в ясном уме загнать Мирвали в этот ад! Хоть бы немного пришла в себя, хоть бы немного к ней вернулись силы. Дорога измучила её... Только бы поправилась. Он бы знал, как уговорить её... Сказал бы: хватит. Довольно. Они в Татарстане, на родной земле, в знакомых краях. Приехали, посмотрели. Чего же ей ещё надо? Что пользы тащиться в Карачурово? Или там есть братья и сёстры, которые ждут их не дождутся? Как бы не так, ждут и блинов напекли! Всё седьмая вода на киселе!.. И то неизвестно, живы они или нет. Может, тоже судьба невесть куда поразбросала... Нет! Если надо, проживут в этой деревне денька два, в крайнем случае недельку, однако отсюда Мирвали шагу дальше не сделает! И Шамсегаян в Карачурово не отпустит! Хватит... В минуту душевной слабости он согласился на поездку, но теперь всё! Не вечно же ему быть мягким, будто воск...

Вдруг его словно ударило обухом, голова пошла кругом, и всё разом спуталось: а если Шамсегаян умрёт?!

До сих пор болезнь жены не очень-то тревожила и пугала Мирвали. Иногда он даже подумывал, уж не притворяется ли она, не хитрит ли, чтобы заставить его вернуться в Карачурово. Вот доедут они до Казани, вскочит вдруг на ноги больная Шамсегаян и, смеясь, станет перед ним: видишь, я же лежала так, понарошку! Мирвали всегда мерещилось что-то в этом роде...

В самом деле, что, если она умрёт?

Он притопнул, стряхивая пыль с сапог, подтянул голенища и крупными шагами направился к дверям больницы. Нет, нельзя ей здесь умирать. Нельзя! Надо без околичностей поговорить и с врачом, и с Шамсегаян.

---

<sup>7</sup> Фиалка.

Мирвали был уже у крыльца, когда откинулся краешек марли, прикрывавшей дверь, и оттуда, пригнувшись, вышла давешняя девушка.

– Абый... Вас жена зовёт. Доктор тоже просил зайти.

Зовёт? И врач разрешает? Добро. Видно, он догадался, что Мирвали до зарезу нужно крупно потолковать с женой! Он накажет Шамсегаян не сдаваться, крепиться. Пусть выздоравливает. Только бы удалось поговорить сглазу на глаз. А ведь, поди, и эта девчонка увяжется за ним, да ещё врач будет стоять тарашиться... Нет, Мирвали попросит их выйти. Хватит, уже трое суток он лишён возможности остаться наедине с женой... Ведь не грех, если они минутку-две поговорят без свидетелей! Постой! А почему они вдруг позвали его? Что-то там случилось?...

– Абый, или вы не слышите?

Довольно-таки долго простоял Мирвали в задумчивости, вцепившись пальцами в перила крыльца.

– Слышу, слышу!

Они вместе вошли в больницу.

В полутёмном прохладном коридоре можно было различить нескольких больных в серых халатах. Доски только что вымытого дожелта пола прогнулись, закрипели под ногами Мирвали. Девушка с удивлением оглянулась назад. В её огромных глазах сквозила печаль. Мирвали спохватился и пошёл осторожнее, ступая на носки. Дошли до узкой двери с облупившейся краской. Девушка сняла с вешалки белый халат и молча подала Мирвали. Халат с нелепо куцыми рукавами был очень тесен в плечах.

– Сюда.

Мирвали вошёл в небольшую комнату. Здесь, на единственной кровати, прислонившись спиной к подушке, полулежала Шамсегаян. Щёки у неё разругались, она помолодела, похорошела. Рядом стоял высокий врач и мягким голосом убеждал Шамсегаян не волноваться и поменьше разговаривать. Шамсегаян увидела мужа, но разговор с врачом не прервала, так увлеклась.

– Наш народ, уж исстари повелось, он землёй живёт, не надышится на неё... Я и сама смолоду страсть как любила работать в поле!.. Придёт весна, не хочется, бывало, ив избу заходить. А ведь тяжело! В страду, случалось, по две недели чулок не снимала – некогда! И всё же весело!.. Неспроста любимой птицей наших дедов был полевой жаворонок, любимым праздником – праздник плуга – Сабантуй. Ой, как весело праздновали!

Врач ответил, что Сабантуй и теперь хорошо празднуется, хотя по сравнению с прошлыми годами бывает не таклюдно. Затем он обратился к Мирвали:

– Ближе подойдите, ближе!.. Только не давайте больной много говорить. Ей нужен покой, отдых.

Мирвали опустил веки в знак согласия. Шамсегаян с грустью взглянула на мужа. И, словно боясь отпустить врача, опять заговорила о яблонях, растущих под окнами, о мальчонках, только что пробежавших по улице. Врач односложно отвечал ей и наконец вышел, забрав с собой девушку, поджидавшую у порога.

– Пожалуйста, не засиживайтесь, – попросил он напоследок.

Они остались с глазу на глаз. Мирвали тяжело вздохнул, почесал затылок, повёл плечами и ненашёл что сказать. Мирвали, конечно, знал, что самое целебное лекарство для больных – это ласковое слово, одобрение и утешение. Но у него язык не повернулся сказать такое слово. Если на то пошло, сама звала. Пусть сама и начинает разговор!..

Однако Шамсегаян тоже молчала. Долго глядела в угол, на тумбочку в углу, на цветы на тумбочке... Она думала, подбирала слова помягче, но, ничего не придумав, чуть приподнялась и сказала просто:

– Мирвали, я умираю.

Это было как гром среди ясного неба. Устремив на Шамсегаян погасшие глаза, он силился осмыслить услышанное. Как же это так, ехала, твердила: не помру, не помру – и на тебе! Что же это такое?

– Очень уж ты оброс... Хорошенько побрейся... В зелёном чемодане новые брюки. И рубаху в полоску надень... Булочки, поди, зачерствеют. Но не выбрасывай куда попало. Есть у тебя такая привычка!.. Там у них, наверно, лошади имеются... Словом, сам смотри!..

«И это весь разговор? Шамсегаян, бестолковая! При чём тут борода и рубаха?... Булочки! Да пропади они пропадом!» – думал Мирвали, но сказать вслух не осмелился.

– О чём ты, Шамсегаян?

– О деле говорю.

– Что ты мелешь?

– Поговорить бы надо, Мирвали... Да вот слов нет! Это-то и горько! Чувствуешь, что жизни осталось, будто ниток на один стежок, а слов нет... Я уже забыла, как разговаривать с тобой... Не обижайся!

Она замолчала.

– Что же это получается?

Шамсегаян не ответила. Рукой указала Мирвали место около себя на кровати.

– Сядь-ка вот сюда... Поближе подвинься... С тех пор как я захворала, ты и не подходил ко мне. Очень я исхудала?... Из вагона и то чужие люди вытащили...

– Опять ты считаешься обидами?

Шамсегаян будто не расслышала.

– Мирвали! – мягко окликнула она его. – Моя последняя воля. Отвезёшь меня в Карачурово и там похоронишь.

– В Карачурово? – переспросил Мирвали испуганно.

– Да. Хватит, довольно намыкались, шатаючись по свету! И откуда у человека столько терпения берётся?

– И что ты надрываешь моё сердце пустыми разговорами!.. Выглядишь ты совсем хорошо. Вот поправишься, станешь на ноги... Я-то пришёл было к тебе, чтобы совсем о другом потолковать.

– О чём это, Мирвали? – спросила Шамсегаян, насторожившись.

Он немного подумал и решил не говорить.

– Потом, как поправишься.

Шамсегаян, усмехнувшись, покачала головой и повторила:

– Довези до Карачурова! И сам там оставайся.

– Я?...

– Земляки потеснятся, приютят... Расскажешь им обо мне. Смотри же, не забудь, не поленись. Наверно, кое-кто помнит ещё... Хотя воды-то много утекло... Тридцать лет! Это же целая жизнь, а, Мирвали?... Народились и выросли новые люди. А мы с тобою их ине видели... Тридцать лет!

– Да-а...

Раздался осторожный стук. Мирвали обернулся. Дверь слегка приотворилась. В просвете горели огромные глаза девушки.

– Не уходи, посиди ещё, – сказала Шамсегаян.

Мирвали кивнул девушке и посмотрел на жену. Как бы ища опоры, она сжала руку мужу и подвинулась к нему.

– На кладбище, ближе к Дубовой улице, есть берёзка. Она растёт в уголке, обнявшись с сосной... Высокая сосна! Если не будут против, похорони меня там. Когда жили в Карачурове, как поженились мы, я всё заглядывалась на них... Растёт берёзка себе, прижавшись к большой сосне... Казалось, и мы так будем жить.

– Врач-то что сказал? – Мирвали вздохнул и расстегнул ворот рубахи.

– Что ему говорить? Он-то старается. Утешает. Заставил принять лекарство, сделал уколы... Не тело, а душу мне надо лечить!.. Скоро, говорят, настанет такое время, когда ничто не будет терзать человеку душу. Кто знает. Не смогла вернуться в Карачурово на своих ногах и поклониться землякам. Ушли не попрощавшись. Тёмной ночью, тайком, словно волки. Не диво, что душа изболелась...

В дверь снова постучали.

– Побудь ещё, – опять попросила Шамсегаян.

– Это очень уж давние дела, – сказал Мирвали, недоумевая.

– Да, давние! Поэтому ты возвращайся, искупи наш грех: зайди ко всем родичам, ко всем землякам и передай поклон от меня. Скажи, что очень стосковалась! Подарки в чемодане. Сам смотри, кому что... Не забудь о ребятишках!.. Мирвали, отодвинь-ка занавеску!

Он поднялся, потянул занавеску в сторону, тонкая ткань, прикреплённая внизу гвоздиком, тут же порвалась. Наблюдавшая за мужем Шамсегаян осуждающе покачала головой:

– Разорвал-таки. Руки у тебя жёсткие, несуразные руки.

Лучи солнца заполнили комнату.

– И в Карачурове, наверно, такая же погода... Скоро будут дёргать горох... Жать рожь... Никто, наверно, не ждёт, чтоб приехала Шамсегаян... Никто не скучает о ней... Словно как и не жила на свете! Дитя человеческое, будто ведро с водой – свалилось и вылилось всё... Нет, Мирвали, мы с тобой были слишком жестокими к себе, самым дорогим не дорожили...

Мирвали, в жизни не разговаривавший с женой о таких вещах, слушал её с каким-то отчуждением. Хоть бы врач вернулся, что ли, или та девушка! Хоть бы в дверь постучали!

– Врач сказал, что Карачурово в той стороне. Я уже справлялась, – вполголоса сказала Шамсегаян и снова попыталась по возможности ближе придвинуться к Мирвали. Кровать была узкая, неудобная. – Смотри не вздумай хоронить меня тут. Довези до Карачурова и сам оставайся там... Не станешь же, словно бродяга, один-одинёшенек шататься неизвестно где. Там твои корни, там родимая земля. Всего-то, говорят, пятьдесят восемь вёрст. Там вот, недалеко...

Еле заметным движением ослабевшей руки Шамсегаян подняла с места огромного, как медведь, Мирвали. Он встал, прислонился к переплёту окна и посмотрел вдаль, на бескрайние поля. Постоял, затем резко обернулся.

– Шамсегаян! Не могу я вернуться туда! Нельзя мне. Не воль. Нельзя...

Шамсегаян, пока он глядел туда, где было Карачурово, как-то странно вытянулась на кровати и молчала.

– Шамсегаян!

Перед больницей круто остановилась мчавшаяся на предельной скорости машина, из которой вылезли люди в белых халатах...

Когда врачи, прибывшие из районной больницы, вошли в маленькую палату, Шамсегаян уже навеки распрощалась с белым светом.

Мирвали стоял остолбеневший, без слёз, без слов. Его с двух сторон взяли под руки и вывели на свежий воздух. Прибывшим из района ничего не оставалось, как подтвердить, когда и по какой причине произошла смерть.

Мирвали снова сидел на том же берёзовом чурбаке. К нему подошёл молоденький врач, казавшийся без халата ещё более высоким.

– Абый!

– А?... Что такое?

– Наши возвращаются в район... Хоть крюк порядочный, но они согласны довести покойницу до Карачурова...

– До Карачурова, говоришь? И ты, значит, про то же?...

– Она говорила, что вы туда едете...

- Туда... туда... Только с ними я не поеду.
- Почему?
- Так.
- А то мы на своей машине проводим.
- И ваша машина не нужна.
- Почему?
- Коня ты мне дай, коня! Если уж не смог сохранить ей жизнь, то не поскупись, дай коня!
- Врач на секунду задумался.
- Что ж, ладно. И подводу дадим, и возчика.
- Возчика не надо. Один повезу... Не бойся, не украду коня.
- Я не боюсь.
- Если нужно, документы свои оставлю... Пойми, не хочется видеть мне живых людей!..

Коня обратно приведу... Я туда ненадолго... Быстро обернусь... Очень быстро!.. И папирос бы мне... Пачку бы!

Врач мотнул головой в знак того, что документов ему не надо. Достал из кармана брюк пачку «Беломора» и коробок спичек. Около ворот, усевшись на землю рядом с пятнистым облезлым псом, плачет мальчонка. Нос у него в веснушках, ноги в цыпках.

Из огромных глаз девушки падают крупные слёзы...

Ветер крутится по двору, ласкает грядку с ночными фиалками и относит на улицу их сладкий аромат...

На телеге, застеленной мягким сеном, васильками и клевером, вытянулась, устремив лицо в лазурно-золотистое небо родимого края, Шамсегаян...

Конь фыркает, опасно косится на странную поклажу, роет копытами землю, и мелкие комья летят из-под его ног, словно стайка перепуганных птиц...

Врач стоит, положив ладонь на нагретую солнцем верёю<sup>8</sup>. Рядом сёстры и санитарки. Провожают. Телега катится по улице ровно, бесшумно.

На белых-белых гусей, сидящих на зелёной мягкой мураве, на мгновение падает большая чёрная тень Мирвали...

---

<sup>8</sup> Верёя – косяк, столб у двери и у ворот.

### 3

Сперва скрылись из глаз перегородившие деревню вдоль и поперёк всевозможные ограды, заборы и обвитые хмелем плетни с горшками и кувшинами на колышках, пелёнками и старыми серпами, затем не стало видно пожарной каланчи, сбитой из серых покорёженных досок, и пожарника, со скуки уныло подперевшего щеку; наконец исчезли окутанные вечерней влажной мглой тополя, росшие по берегам пруда и под мостом...

Деревня осталась позади...

Он так и не спросил, что это за деревня. Выехал за околицу и не оглянулся назад. Больше того, когда встречные с любопытством ошупывали глазами его фигуру, коня и телегу, он даже ни разу не поднял головы, не посмотрел на них и не ответил на несмелые приветствия. Ему всё казалось, что кто-то остановит его и, обдав холодом сердце, дрожащее мелкой дрожью, словно вот-вот выскочит из груди, громко и сердито крикнет:

– Эй, куда это ты держишь путь? Кто ты такой?

Только б не остановили, только б не спросили.

Но никто не крикнул и никто не задержал. Все спешили управиться с делами засветло. На мгновение остановятся, посмотрят на Мирвали и идут себе мимо. Конь тянет ходко, шлёпая копытами по пыльной колее. Чтоб не отстать, Мирвали обеими руками вцепился в гладкую, блестящую, словно кость, заднюю перекладину телеги.

Они движутся на запад. Там Карачурово.

Сказали, что до Карачурова пятьдесят восемь вёрст...

В зелёном чемодане новые брюки... В сером чемодане гостинцы...

Пятьдесят восемь вёрст. Далёкое ли это расстояние? Много ли это – пятьдесят восемь?...

Нынче им обоим – Шамсегаян и Мирвали – стукнуло по пятьдесят восемь лет.

Что больше: пятьдесят восемь вёрст или пятьдесят восемь лет? Если ехать быстро, пятьдесят восемь вёрст, может быть, удастся одолеть за ночь... Деревню-то вон как живо проехали... Деревня, больница... На перилах больничного крыльца кто-то перочинным ножом вырезал «люблю»... А почему эти странные цветы раскрываются только ночью?...

Пятьдесят восемь вёрст. Их можно пройти вот так: не поднимая головы, не оглядываясь назад...

Пятьдесят восемь лет... А что? Мирвали и их сумел прожить, не оглядываясь назад. А почему он не оглядывался? И почему только сегодня, вот здесь, в пустынном поле, вдруг вспомнил, что им по пятьдесят восемь? Почему он и теперь боится оглянуться? Когда в нём угнездился этот страх?

Когда-то он был бойким и шальным мальчонкой, как эти ребяташки, что гурьбой завалялись в телегу и со смехом и гогомом возвращаются в деревню.

И он был крепким, как дуб, и стройным, как эти встречные парни, ладные и красивые, хоть и идут они запылённые с ног до головы.

И почему он не улыбочив, не радостен, как эти почтенные люди, шагающие за возами душистого сена?...

– Почему?...

Пятьдесят восемь вёрст предстоит пройти, а пятьдесят восемь лет остались позади... Он вполголоса начал повторять про себя:

– Пятьдесят восемь... пятьдесят восемь...

Это навязчивое число вытеснило все другие мысли и чувства. Куда ни повернись, ему мерещатся пятёрки и восьмёрки. Дуга круглится, как опрокинутая пятёрка. Придорожные травы выгнулись и сплелись в нескончаемую вереницу всё тех же пятёрок и восьмёрок... Он зажмурился и снова вцепился в перекладину.

Телега катилась под уклон. Конь пошёл мелкой рысью. И всё же Мирвали показалось, что они продвигаются очень медленно. Не поднимая головы, он прикрикнул:

– Но-о, лошадушка!

Дорога пересекла картофельное поле, затем углубилась в пшеницу. Дальше пошли лощины, буераки. По лощинам проносились струи тёплого влажного воздуха, отдающего болотом. Когда он был ещё совсем маленьким, если они, возвращаясь с поля, попадали в такую парную струю, отец говаривал: «Этот тёплый воздух напускают черти. Они сидят вон в тех глубоких ямах и, увидев верующих людей, горестно вздыхают...»

Детство... Отец... Откуда вдруг всплыли эти воспоминания? В каких уголках памяти, для чего сохранились они?

Удивлённый тем, что творится в его собственной душе, Мирвали на миг даже остановился: человек, проживший свой век без оглядки, считая, что вся жизнь ещё впереди, что завтра, слава богу, тоже день и этот день наш, – тот самый Мирвали вдруг вспоминает прошлое?... Странно, очень странно...

А не потому ли он и начал копаться в прошлом, что дорога и Карачурово, в которое она ведёт, полны неизвестности и ему страшно подумать о завтрашнем дне, о встрече с односельчанами?... Это непривычное ощущение обступило его, точь-в-точь как тёплый парной воздух, струящийся по лощине, и чем дальше шёл Мирвали, тем властнее захлёстывал его поток воспоминаний. И вдруг с ошеломляющей ясностью ему открылась ужасная истина: многие годы он прожил, уверяя себя, что теперь-то уж ничего не боится, что прежние страхи и опасения забыты, что живёт он вовсю, аж земля дрожит под ногами, – и вот оказалось, что вся его уверенность не больше, как мыльный пузырь! Прошлая жизнь представилась Мирвали неприглядной и мрачной, как уродливый призрак, притаившийся за чёрными кустами полыни...

Он облизнул пересохшие губы. Возникло ощущение, будто он заблудился на дальней дороге, затерялся в непроглядной ночи, будто он растерзан и брошен. И, чувствуя озноб во всём теле, Мирвали, как заклинание, произнёс:

– Шамсегаян...

Конь, словно спрашивая, меня, что ли, зовёшь ты, странный путник, скосил глаза. Вспорхнули птицы, сидевшие на дороге, и полетели в поле. Закружились нетопыри, бесшумно рассекая темноту большими неуклюжими крыльями. Гора, что ли, какая есть поблизости? Откуда взялись эти летучие мыши?... Сколько же вёрст проехали они? Он снова проговорил:

– Шамсегаян.

И не узнал собственного голоса. В нём была тоска, скорбь, мольба... Он резко тряхнул головой и наклонился к жене, закутанной в белую простыню:

– Шамсегаян... Ты мне говоришь, возвращайся в Карачурово... Говоришь, оставайся там... Вот мы и едем туда, Шамсегаян... Никогда-то не думал, что вернусь... Видишь, уже свечерело... Завтра день будет ясный... Солнце закатилось такое румяное. Почувствовала ли ты, какое тёплое оно было? Наша дорога ведёт туда, где закатилось солнце. Там Карачурово, так мне сказали... Помнишь ли, ты была самой красивой, самой пригожей девушкой в деревне. Эх... И вот, когда я уехал на ярмарку в Нуркаево, парни из соседней деревни надумали украсть тебя. Услышав об этом, я не дождался конца ярмарки... Собрались мы с друзьями, искромсали им сбрую, а самих отдубасили так, что почернели парни, словно головёшки... Помнишь, как неслись они по деревне, впрягшись в оглобли вместо коня! Э-эх!.. Не было в Карачурове парня, что мог бы выйти против Мирвали... Да разве только в Карачурове? Во всей округе он был один!.. А потом – на другой день – ты шла к своей тётушке, в нижний конец деревни. Несла в руках крохотный узелок – ярмарочные, стало быть, гостинцы... Ты была в муравчатом платке и зелёном платье... Когда ты поравнялась с нашим проулком, я подхватил тебя на руки и затащил домой. Ты нисколько не противилась. Шамсегаян!.. Только навзрыд плакала потом: отец, дескать, огорчится, обидится... Моя матушка утешала тебя, поила чаем с сотовым мёдом...

Не забыла ли ты, как я запер в ту ночь ворота шкворнем, спустил собаку с цепи, а в клеть, где мы остались вдвоём, принёс заряженное ружьё? Ни стрелять из ружья, ни собакой травить никого не пришлось... А жаль... Мне очень, очень хотелось спасти, отнимать тебя. Очень хотелось показать тебе, кто такой Мирвали. Показать, что он никого на свете не боится... Но в ту ночь никто не потревожил нас. Только когда в углу клетки зашуршали мыши, ты разбудила меня на заре, зашептала: «Мирвали, милый, я боюсь!..» Я в ответ расхохотался во всё горло: «Ты мышей испугалась?» И снова хохотал и пыжился: дескать, что мыши, пусть придут львы, пусть придёт стая голодных тигров!.. Ты уж, наверно, успела забыть, как чуть свет, только стадо погнало, к нам явился твой отец. Старик... На ногах поношенные лапти, на голове круглая шапчонка. Не драться пришёл он, да и ссориться не собирался... Сидел смирный такой... И всё просил, бедняга: чему бывать, того не миновать, Мирвали. Дочка у нас одна, пусть и тебе она будет единственной, не обижай, береги её...

Мирвали замолк. Над полями колыхались чёрные с синим отливом тени, и по-сумасшедшему кричали перепела. Вдалеке, где висела тонкая завеса, соединяющая синее небо с чёрной землёй, мелькнула, ощутив всё вокруг огненными глазами, какая-то машина. И исчезла. Где-то лениво брехали собаки...

Отец Шамсегаян, хоть и кровью обливалось сердце у него, простил, благословил... Но отец Мирвали... Шайхразый-бай...

Он и так гневался на то, что Мирвали самовольно и раньше времени покинул ярмарку. А когда, вернувшись, услышал, что сын женился на дочери самого бедного в деревне человека, Шайхразый-бай для почина вlepил затрещину жене и вызвал к себе сына.

– У тебя две дороги: или сегодня же разведёшься со своей ободранкой, или вместе с ней выметешься из моего дома.

Крут был старик, долгих речей не любил. Ответ Мирвали был того короче:

– Добро!

Они переселились с Шамсегаян на край деревни, к одинокой старушке Таифе, с грехом пополам перебивавшейся с хлеба на воду. С отцовского двора Мирвали не прихватил ни щепки. Куда там! Горд был, горяч. Мать и отец смотрели в окно, как пошли они из ворот с небольшим узелком в руках. Мать на крик рыдала, отец грозил и проклинал сквозь сжатые зубы.

Шамсегаян только радовалась тому, что они ушли от Шайхразый-бая. Очень любила она Мирвали!.. Он был сильный, крепкий, красивый. Посмотрели бы вы, как он подхватывал вилами-тройчатками полвоза сена и шутя забрасывал на высокую скирду... Рос в байском доме, но с детства вертелся среди работников и пристрастился к труду, ни минуты не сидел сложа руки.

Теперь они работают вместе. Шамсегаян между делом поднимает глаза, полные любви и счастья, и кончиками пальцев касается его разгорячённого плеча. Тихонько, чтобы чужие уши не расслышали, шепчет ему:

– Родился б у меня сын, Мирвали, такой же, как ты, богатырь!

Мирвали улыбается, показывая белые-белые зубы, и, вгоняя жену в краску, говорит так, чтобы все слышали:

– Подарила б ты мне дочку с чёрными большими глазами, такую же красивую, как ты сама, Шамсегаян!

Славно зажили они у бабки Таифы. Прежде всего подновили избу, сменили венцы. Нарубили в прибрежных зарослях гибкой лозы, пристроили сени. Отоплили их, обмазали красной глиной. Поставили во дворе небольшой сарайчик и хлев. Постелили новые доски на нары. Жили довольные своей долей, без лишних забот и печалей...

Обзавелись козой. Шамсегаян поначалу боялась, что Мирвали, выросший в полном достатке за родительской спиной, не выдержит долго этой жизни. Зорек, однако, был тогда

Мирвали, знал, какие страхи донимают его ненаглядную, и ласково посмеивался. И разве хоть когда он пожалел о том, что покинул дом отца?

Только детей у них не было.

Шамсегаян очень хотелось стать матерью, очень хотелось порадовать мужа сыном-богатырём. Она чувствовала себя виноватой и тайком от Мирвали бегала к ворожеям и знахаркам. А Шайхразый-бай между тем злобствовал и выхвалялся: это, дескать, он проклял их, потому Аллах и не даёт детей. Но всё же они были очень счастливы и жили-поживали себе, не прислушиваясь к толкам, ходившим по деревне, не приглядываясь к тому, что творится в мире.

С тех пор вот прошло тридцать лет...

Под ногами захрустела галька. При неярком, скупом звёздном свете впереди обозначилось огромное мглистое озеро. Вблизи это чёрное озеро превратилось в лес, и уже вскоре они ехали между деревьев. Лес ещё не спал. Мелкие зверушки, нетерпеливо ждавшие темноты, вышли на поиски пропитания. Повсюду слышались затаённые шорохи, и поэтому тишина, угнездившаяся наверху в листве, казалась тревожной и сторожкой. Это произвело впечатление не только на Мирвали. Конь тоже закидывал голову, прядал ушами и пугливо косился на кусты, за которыми клубились чёрные тени. А Мирвали с каждым шагом крепче вцеплялся в телегу, плохо загнутые гвозди больно впивались ему в ладони, но он их не чувствовал. Орешник протянул свои тонкие руки на самую дорогу и трогал холодными листьями, шершавыми, как точильный брусок, его щёки, заросшие курчавой бородой.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.